

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
О-65

Художник О. Лейкина

Исключительное право на издание книги принадлежит издательству «Лепта-Пресс». Любое воспроизведение произведения без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону.

Ордынская Ирина Николаевна

О-65 Ангельский чин: Повести о русских святых. — М.: Лепта-Пресс, 2005 — 253 с.: [4] л. цв. ил.

ISBN 5-98194-044-1

Книга «Ангельский чин» представляет настоящую историю России — историю её духовности, созданной великими православными святыми. Именно жизнь преподобных, то есть уподобившихся самому Богу людей, является маяком для каждого человека. В книге рассказывается о судьбах тех, к кому из века в век с надеждой и молитвой обращаются русские люди: о Сергии Радонежском и Андрее Рублёве, о Ксении Петербургской и Серафиме Саровском. Как и нам, на долю святых выпадали все горести и невзгоды человеческой жизни, но их мужество и духовная красота дарят нам сегодня веру в то, что замысел Божий создать человека — прекрасен, и у каждого из нас всегда есть выбор каким быть...

Книга адресована как взрослому читателю, так и юношеству.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 5-98194-044-1

© Издательство «Лепта-Пресс», текст, оформление, 2005.

АНГЕЛЬСКИЙ ЧИН

Игумен Сергей
Ангельский чин
Блаженная
Пустынник

Содержание

| | |
|----------------------|-----|
| От автора | 4 |
| Игумен Сергей | 7 |
| Ангельский чин | 83 |
| Блаженная | 147 |
| Пустынник | 215 |

От автора

Параллельно официальной, бойкой в страстях истории, науке о политике и политиках, на Руси всегда существовала другая история — история духовности. В ней были свои высоты — высоты духа, свои личности — величайшие личности русских святых. Для нас надежда, а для них величие в том, что они сумели преодолеть повседневную суету и достичь святости в обычной человеческой жизни.

Психология учит нас: архетип — это подсознательная, присущая всем людям или отдельному народу, концентрация того, что вызывает у человека реакцию «узнавания». Наверное, главное, чем характерны русские, собрано в образах наших святых, потому к ним сотни лет обращается наш народ. Они — это и есть все мы в лучших наших проявлениях, если снять все наслоения, всю грязь и муть нашего бытия. Если хотите, это наша мечта о нас самих.

Мыслители древности считали: Бог открывается людям в святых, потому и назы-

вают их преподобными, что подобны они Создателю. Бесконечны грани Божьего отражения в человеке. Кто может знать сколько их?

Эта книга — попытка всмотреться в четыре особо дорогих и почитаемых на Руси образа.

Сергий Радонежский — могучий дух, отеческая любовь к каждому человеку.

Серафим Саровский — очарование православия, его поэзия, нежность, светлая радость жизни.

Ксения Петербургская — венец любви земной, символ гармонии отношений между мужчиной и женщиной.

Андрей Рублёв — освящённое творчество, расцвет таланта, наполненного благодатью, когда глаза художника могут видеть то, что было всегда скрыто, недоступно.

Святые образы, как грани драгоценного камня, переливаются, переходят один в другой, и можно увидеть совершенство Божьего создания — человека. Как отдельные черты характера складываются в личность, так хочется собрать в целое святые души, может быть, тогда проявится, почувствуется совершенный замысел Создателя.

Если долго смотреть на отвратительное зло, перестаёшь верить в добро. Мир начинает казаться бессмысленным, а человек — злым животным. Так мы сами, не понимая,

убиваем Бога в себе. Уходим от Него всё дальше и дальше. Сосредоточенность на созерцании зла так же бесплодна, бессмысленна и разрушительна, как и оно само. Давайте посмотрим в Сергия Радонежского, в Серафима Саровского, в Ксению Петербургскую, в Андрея Рублёва — в их чистые души, и сквозь них, как через кристалл, увидим, может быть, глаза Создателя и почувствуем, что Он рядом с нами. Право, не всё ещё потеряно для человечества, пока живёт в нём память о святых.

Мне бы хотелось, чтобы эта книга прибавила и юным и взрослым читателям уверенности в том, что мы живём в прекрасной стране с удивительной историей, потому и называем её святой Русью.

Игумен Георгий

Монастырь Святой Троицы
на Маковице.
Последний месяц лета 1365 года.

Учинённый брат Михей разжигал печь, бережно, старательно складывал внутри неё фигуру из щепок и дров, чтоб пламя разгорелось быстро, долго не затухало и скорее согрелась остывшая за ночь келья. Клубы дыма повалили из печи, но, послушные сквозняку, в лёгком своём полёте не оставались в избе, а потянулись к устью дымохода.

По утрам печь в келье Михея и игумена Сергия зажигалась последней. Михей от лампы храмовой иконы Живоначальной Троицы разносил огонь по всей обители, пряча под полой рясы слюдяной фо-

нарь, и зажигались в печах жаркие костры, просыпался, оживал монастырь. Лучины, сосновые и берёзовые щепы, неярко освещали кельи собиравшихся к заутрене монахов.

На улице посветлело, сумерки прояснились. Конец лета выдался холодным, ливни, туманы. Всю прошедшую ночь шёл дождь, утихомирившийся только к утру. Деревянные стены церкви, изб-келий, сараев, амбаров, пекарни, трапезной разбухли, потемнели, устали от сырости. Земля также не смогла впитать в себя всю излившуюся на неё воду; в лужах мокла трава, плавала, как водоросли, и только невыкорчеванные пни торчали островками.

Печь капризничала, сырые дрова не без борьбы сдавались огню, от густого дыма у Михея покраснели глаза, но он не терял терпения и наконец добился своего, победило пламя. Чад улетучился, жёлтый языкастый огонь запылал в печи.

Михей искоса, через плечо посмотрел на игумена. Лица отца Сергия, в молитве преклонившего колени, было не рассмотреть — только спину, сторбленную в застывшем поклоне. Михей печально вздохнул, некоторое время смотрел в огонь, потом вновь вздохнул.

Игумен поднялся с колен, поправил фитиль лампадки у икон.

— Что случилось? — он хорошо знал своего келейника, не первый год тот жил в монастыре и уже давно с ним в одной келье.

Михей повернулся к отцу Сергию, потёр руками покрасневшие глаза и белёсые ресницы, а затем и всё своё веснушчатое, пухлое, с курносым мясистым носом лицо.

— Прости, отец игумен, прости, — он снова вздохнул.

— Говори, Михей, смелее, в чём дело? Случилось что? — настоятель поправил пушистую бороду, в которую проваливались худые, натянутые на скулы щёки. Длинные волосы, вьющиеся, как и борода, обрамляли его лицо, высокий лоб с залысинами. Но над лицом царствовали глаза, оно растворилось, потеряло очертания и значимость, когда загорелся поднятый на собеседника взгляд, полный ума и доброты.

Дальше молчать было нельзя и Михей начал:

— Келья Данилы пуста. И Порфирия, бывшего своего слугу, увёл. Ночью ушёл. Всё добро увёз. Наверное, с крестьянами договорился о телеге. Братья говорят, ничего не слышали ночью. Тихо ушёл.

Игумен долго рассматривал угли в печи, потом подошёл ближе к огню и протянул к нему руки, согревая худые длинные пальцы.

— Тебе жаль, что ушёл Данила? — медленно произнося слова, спросил он Михея.

— Нет, — ответил тот.

— Почему же?

— Не любил я его. Жадный. Не мог расстаться со своим добром. Ни ложки, ни миски в трапезную не отдал. Да и Порфирий ему продолжал служить. Ушёл — туда ему и дорога... Я боялся, что ты опечалишься... не первый ведь уходит... с тех пор как мы стали сообща хозяйствовать.

— Не первый... — то ли согласился, то ли задумался отец Сергей.

— Ты не должен печалиться, — Михей заговорил горячо, — мы преданы обители нашей! Ты прав, не может быть монаха бедного или богатого. Всё добро должно быть Божье, всё должно быть братское, общее. Как же не понимают они, как могут уходить от тебя? — слёзы выступили у него на глазах.

— Хорошо, что ты так молод, можешь потрудиться над душой своей; сейчас она у тебя чиста, а придёт время, если не остынешь, выдержишь, даст Бог, хотел бы я увидеть, какой она станет, — игумен чуть заметно улыбнулся. — Иди, дел у тебя много, и мне пора в церковь, готовиться к службе.

Когда игумен вышел из сеней кельи, то увидел, что к нему спешит келарь Илия, его главный помощник во всех монастырских

делах. Крепкий, быстрый, ловкий, несмотря на рясу, напоминавший с первого взгляда скорее купца, чем монаха.

— Отец Сергей, благослови, — сказал келарь скороговоркой и, толком неждавшись просимого, приступил сразу к делам: — ушёл Данила, — он сделал паузу, ожидая реакции игумена.

— Я знаю, — спокойно кивнул тот.

— Надо подумать, как лучше использовать его келью, изба-то большая, как бы не лучшая в монастыре.

— Странники ещё прибыли? — спрашивая это, отец Сергей направился к церкви, стараясь обходить глубокие лужи после ночного дождя.

Келарь пошёл рядом с ним.

— Четыре человека, двое детишек, совсем слабые, смотреть страшно, — Илия покусал губу, — в избах для странников места уже нет, тесно.

— Вот и ответ. Пришедших поместим в келью Данилы, поставим в ней ещё лавок, после службы я сам займусь этим, — закончил разговор отец Сергей, открывая дверь церкви.

— А с припасами как? Кончаются ведь, — торопливо затараторил келарь.

— Подумаем вместе, чего не хватает и как восполнить, а сейчас устраивай людей, посмотри, всё ли необходимое им дали,

хорошо ли покормили, да пусть келью Данилы протопят, сыро, — дверь церкви закрылась за игуменом.

Илия потоптался на месте, соображая, с чего ему начать исполнять поручения настоятеля. Решив, что в первую очередь нужно заняться странниками, он быстро направился к келье Данилы. Навстречу келарю неторопливо шёл к церкви Стефан, старший брат игумена, высокий, статный, в рясе из дорогого сукна, он беседовал о чём-то с двумя молодыми послушниками. Келарь ему кивнул и уже собирался бежать дальше, как неожиданно Стефан остановил его.

— Постой, Илия, знаешь ли ты, что в церкви воска для свечей почти не осталось? Не ты ли должен отвечать за это — старший по хозяйству среди братии?

— Отче, так мы завтра обоз собираемся посылать. Чего не хватает — восполним. Не только воска нет, но хлеб и сукно совсем вышли, странников в монастыре много.

— Целые дни ты в хлопотах. Как только молиться успеваешь? Неужто в монастырь нужно было уходить, чтоб только хозяйством заниматься? — ухмыльнулся Стефан.

— Ты больше на крестьянина похож или купца, а не на инок, — встрял в разговор один из послушников.

— Послушание я принял, по хозяйству работать, — немного растерявшись, пожал

плечами келарь. — Моя забота, чтоб люди сыты были и одеты. В послушании и спасаю свою душу.

— Душу?! Спасает душа?! — в голосе Стефана зазвучала горечь, может быть, и с обидой пополам. — Зачем ты сейчас вспоминаешь подвиг духовный? Молитвенный подвиг в уединении! Не заботиться о сегодняшнем дне надо, а, презрев мир, отказаться от него. Собирать сокровища небесные, не земные. Ты уж и Евангелие забываешь в суете? Не должен человек заботиться о пропитании. Как птиц небесных питает Господь? Неужто ты так мало веришь, что земное тебе ближе небесного?! Аскеза! Отказ от мира! Каждый через сердце своё, через молитву подвигом спасается. Только так все будут спасены!

Послушник, внимавший с горящими глазами пламенной речи Стефана, схватил его руку и поцеловал.

— Да, батюшка! Через подвиг духовный!

— В городах мир наступает на монастыри, — печально продолжил свою речь Стефан, — сюда я пришёл в заботе о своей душе, подальше от мирской суеты. Думал, здесь, в тиши лесов, найду радость бесконечной молитвы среди братьев, истинных братьев себе. Каждый человек — храм Божий — один проходит свой духовный путь к совершенству, горя исступлением веры, —

он подошёл вплотную к Илии. — Скажи мне, понимаешь ли, зачем мирские заботы, что взваливаешь ты на себя? Откажись от мира! Задумайся о небесном, пока не поздно!

— Кто знает, что важнее — подвиг уединения или послушание и милосердие? — опустил глаза келарь. — Мне странников одеть нужно и накормить всех в монастыре досыта. Идти мне пора, ждут меня, — он, не оглядываясь, быстро продолжил свой путь.

— Пойми, ты ошибаешься! — крикнул ему вдогонку Стефан. — Не ведаешь, что губишь свою душу! Добра я тебе хочу!

Но Илия только ускорил шаг, через минуту свернув за ближайшую келью.

Столярная мастерская располагалась в большом сарае, до половины заваленном подсыхающим деревом, вдоль стен висели полки с инструментом и разными мелочами; на свободном месте стояли три стола и несколько лавок; из двух половин дверь во всю стену была открыта настежь.

Бьюнки ароматной кружевной стружки, срываясь с досок, улетали лёгкие, падали вниз и покрывали пол вокруг мастеращего очередную лавку игумена и двух помогавших ему послушников за соседними столами. Светлые завитки стружек собирались в невесомые душистые копны у ног столяров,

мастера утопали в них выше щиколоток. Упрямый, шероховатый материал дерева на глазах превращался в гладкие, ласкающие руки доски, ещё не потерявшие острый запах леса. Этот запах со временем испаряется, когда дерево забывает о своих корнях, но пока мастерская пьянила людей живым ароматом сока вчерашних стволов сосен, берёз, дубов.

Вездесущие стружки повисали на бороде и рясе отца Сергия, заплетались в волосы на голове, перевязанные у лба бечевой. Устав убирать нежные завитки стружек, игумен смирился с их капризными полётами.

— Бог в помощь, — Стефан громко обратился ко всем, переступая порог мастерской.

Он остановился у двери, перекрыв своей широкой спиной дневной свет; смуглое лицо Стефана казалось в полутьме таким же тёмным, как его ряса, в глубоких глазницах стали неразличимы глаза. Он судорожно потёр руки, словно вытирая их, и подошёл к готовой лавке, потрогал её, погладил.

— Неплохо, славно выходит.

— А ты бы помог нам, — отец Сергий на минуту остановился, снял несколько стружек с бороды.

— Плохой из меня столяр, — отрезал Стефан, — я в церковь пойду, брату Симону на подмогу. Ты не против, игумен?

— Отчего же, — отец Сергий вновь принялся за работу, — иди, дел в церкви много, а тут мы и сами справимся.

— А можно, я помогу? — молодой, звонкий голос Фёдора, сына Стефана, зазвучал для всех неожиданно.

Никто не заметил, когда он подошёл и прислонился плечом к открытой двери.

— Нет, брат Фёдор, — ответил игумен племяннику, — не здесь нужна твоя помощь. Келья Данилы теперь без иконы, свои он увёз. В его избе будут странники, больные, а в православном доме нельзя без икон, — отец Сергий говорил, не прекращая работы. — Кто лучше и быстрее тебя справится с этим? Дал тебе Бог дар писать образа.

Под ногами Стефана зашуршали стружки, он ушёл молча, как только игумен закончил говорить.

— Я буду стараться быстрее дописать Богородицу. Она уже смотрит на меня, Пречистая, — заговорил Федор горячо, — ни одна келья не будет без иконы. Во мне душа радуется, щемит или плачет, — он медленно подходил ближе к игумену, пытаясь заглянуть ему в глаза, — а потом рвётся наружу, и так пишется мне, что не хватает дня, не хватает и ночи. А потом вдруг Она начинает смотреть на меня с доски. Благослови меня, отче, благослови!

— Благословляю, — игумен с нежностью посмотрел на племянника, — закончишь образ, принеси ко мне.

И снова стружки полетели со столов на пол, с шуршанием отрываясь от досок. После того как ушёл из сарая Фёдор, помощники отца Сергия и сам игумен полностью сосредоточились на своей работе.

Когда келарь Илия в поисках игумена подошёл к сараю, где обычно столярничала братия, там уже никого не было; ушли и послушники, относить готовые лавки в бывшую келью Данилы. Илия нашёл игумена в пекарне, где тот трудился вместе с другими братьями.

Отрывая немного теста от раздобревшей заквашенной хлебной глыбы в круглом деревянном чане, отец Сергей подбрасывал липкий, податливый кусок и долго мял его в обсыпанных мукой по локти руках. Тесто изворачивалось, подрагивало, словно живое, и наконец, приобретая округлость будущей булки, шлёпалось на стол, готовое отправиться на лопате в печь.

В жарко натопленной пекарне так вкусно пахло свежее испечённым хлебом, так было хорошо и уютно, что Илия, вечно спешивший куда-то, немного постоял молча, отдыхая от суеты своих хозяйственных забот.

— Я говорил с Якутой, — начал разговор игумен, не переставая мять очередную пор-

цию теста, — завтра утром он отправится с обозом, за хлебом. Вино и воск для церкви просил Симон. Сукно почти всё вышло, многие странники в одежде нуждались. Если ещё чего не вспомнили, поговори с Якутой сам.

— Я прямо сейчас к нему пойду.

Келарь уже направился к двери, но отец Сергий его остановил.

— Погоди. Позже пришли ко мне в келью Леонтия Станяту.

— Станьку? Пришлю.

Станька бесшумно вошёл в келью игумена, остановился посреди избы, быстрыми, весёлыми, смыслёнными глазами оглядел её всю, перекрестился на иконы — Богоматерь Одигитрию и Николая Чудотворца — и стал ждать, пока отец Сергий, читавший у стола книгу, обратит на него внимание. Михей, отложив рукоделие, вышел из кельи во двор. Нерешительно переминаясь с ноги на ногу, Станька постоял ещё какое-то время с опущенными глазами, но смотреть в пол ему скоро надоело и он искоса начал разглядывать игумена, как тот внимательно изучает исписанные листы, иногда поглаживая пальцами витиеватые буквы. Не оглянувшись на Станяту, отец Сергий неожиданно сказал:

— Хороша книга. Вчера закончил Афанасий «Пятикнижие Моисеево». Лучше

Афанасия в обители никто не пишет. Любодорого посмотреть. Сколько терпения и труда к каждой букве приложено, — игумен переставил скамейку, повернулся к Леонтию лицом, — терпение великий дар.

Станька вздохнул и опустил голову.

— Не всякому он даётся, — продолжал отец Сергей, — но каждый должен нести служение в меру своих сил. Душа требует заботы и внимания, в тишине и покое прикасается она к святым истинам. Не для шума и гордости приходим мы в монастырь. Молчание — наше сокровище, из него рождается лучшее в наших душах.

— Прости, отче, — Станька упал на колени, — виноват, вчера заспорили с братьями о посланиях Святого Павла. Знаю, что недостойно, но не совладал с собой, — он склонился к самому полу.

— Встань Леонтий, — попросил игумен печально, — не о епитимье речь, не для наказания позвал я тебя.

— Отче, велика моя вина, как могу опечалить тебя, когда люблю нашу обитель. И спорю-то с братьями, потому что прав ты: сообща должно жить нам, не зря же мы братьями называемся, и грех противиться наказам Вселенского патриарха из самого Царьграда о введении общего хозяйства. Монастырь должен жить как одна душа, верно сказано, что ничего монах не может

называть своим, никакую вещь. Свободна должна быть душа — для одного Бога.

— Умён ты, Леонтий. Писание знаешь хорошо. Только помнишь ли слова Спасителя: «Милости хочу, а не жертвы»? И понимаешь ли их? — игумен поднялся и знаком приказал встать с колен Станяте. — Митрополит Алексей просит у меня, его слуги, монаха знающего, сметливого, надёжного в помощь ему в делах и для поездки в Царьград. Для тебя это служение, Леонтий. Умешь и любишь ты убеждать людей. Завтра выйдешь с обозом Якуты, часть дороги вам по пути. Утром зайди, письмо передам с тобой митрополиту.

— Отец Сергей, — Станька снова упал на колени перед игуменом, прикоснувшись к его обуви, — не отсылай меня. Отче, испытай ещё, наложи самое суровое наказание, только не прогоняй. Не смогу жить без святого этого места, — всхлипывая, запричитал он.

Игумен поднял Станьку и усадил на лавку, сев рядом с ним.

— Да не гоню я тебя, — он слегка прикоснулся к плечу паренька, — люди разными рождаются, не ломать человека нужно, а дать расцвести его душе. Никому не нужна жертва, когда люди насилуют себя, путь-то у каждого свой. Зачем же заставлять человека делать то, к чему нет у него призвания. Мука

для тебя, Леонтий, бороться с живостью, с любознательностью твоей. Польза будет большая митрополиту, Церкви, значит, и нашей обители, и тебе самому, если послужишь в том, на что способен лучше всего. Подумай и согласишься со мной.

— Я всегда согласен с мудростью твоей, отче, только больно мне уходить из монастыря, хотел оставаться здесь всю жизнь, — слёзы побежали по щекам Станьки, — как послушаться мне тебя, выполню любой наказ. Только ропщут монахи, оставляют обитель. Вот и Данило ушёл. Я бы никогда ни за что не ушёл по доброй воле. Не отсылай меня, отче...

— Митрополиту твоя служба будет полезней. А мы тебя всегда будем рады принять назад, если будет на то Божья воля.

Отец Сергей, стараясь ступать неслышно, вошёл в бывшую келью Данилы, где на лавках спали четверо странников, пришедшие в обитель накануне. Здоровенный мужик средних лет свернулся на лавке клубком и громко храпел, присвистывая огромным носом с волосатыми ноздрями.

На двух лавках у дальней стены спали дети. Беленькая, худенькая хрупкая девочка лет семи с такой бледной кожей, что через неё, казалось, светились не только лучики кровяных жилок, но и косточки —

словно тело девочки было прозрачным. Она тяжело дышала и часто стонала во сне. Игумен наклонился и заглянул в стоявшую на табурете рядом с её лавкой чашу с отварами из трав.

Мальчик вскрикнул и быстро перевернулся с бока на бок, подмяв под себя резкими движениями ног кусок полотна, которым был накрыт. Грубые, сплошной мозоль, ступни ребёнка были исколоты, изрезаны дорогами, приведшими его в обитель из неведомого печального прошлого. Тело мальчика не отпускала внутренняя боль и забота, лицо искажали судороги, он порывисто рвался куда-то, не мог успокоиться даже во сне. Отец Сергей аккуратно прикрыл ноги ребёнка углом полотна, свесившегося с лавки на пол.

Четвёртый странник на лавке у двери лежал спокойно; когда игумен, проходя мимо, посмотрел в его обросшее седой бородой тощее лицо, мужик открыл глаза.

— Не умею я долго спать, — сказал он шёпотом, — а полежать в тепле сытому приятно.

— Я здешний игумен, — отец Сергей поставил табурет рядом с лавкой странника и сел на него.

— Вымерла наша деревня, — мужик приподнялся на локте, — кого татары не выбили, того чёрная смерть прибрала, ос-

тался вот только мой сосед Кирилл, — он махнул головой в сторону храпящего мужика, — и двое детишек чужих, не бросать же их было одним. Ушли вчетвером куда глаза глядят. Пока тепло было — ничего, перебивались тем, что добрые люди подадут, да в лесу грибами-ягодами; теперь совсем плохо стало — холодно ночами. Дети болеют, совсем ослабли.

— Поживите пока у нас, — отец Сергей снова посмотрел на детей.

— Хотел бы поблагодарить тебя, отче, как ты того заслуживаешь, только нет таких слов, каких ты достоин, — мужик сел на лавке покачался вперёд-назад, округлились его глаза, печальные, переполненные тоской. — Какими словами человек может благодарить Бога за жизнь? Нет таких слов. Бог — наш Создатель, не давать жизнь Он не может. Ты, отче, тоже сегодня даришь нам четверым жизнь, и чувствую я, но не знаю, как сказать, что ты не можешь поступать иначе. И как ни огрубела моя душа от боли, от потери всех родных, понимаю я, к какому человеку привели меня дороги. Потому благодарю Бога за встречу с тобой.

— Истину ты говоришь, христианин, и я благодарю Бога, что могу вам сегодня помочь.

— Видел я, вокруг твоего монастыря крестьяне селятся. Можно ли будет и нам ос-

таться здесь, рядом с обителью твоей? Мы с соседом Кириллом люди работающие, нам бы только немного помощи.

— Отчего же нет, — кивнул отец Сергей. — Иноки помогут вам избу срубить. Да я и сам плотник, и на меня рассчитывайте. Хлебом первое время поддержим, овощами. А если вы потрудитесь, здесь крестьяне хорошо живут. И до вас странники селились в округе. Мы в помощи никому не отказываем.

— Благодарю тебя, отче, — мужик попытался поцеловать руку у отца Сергея, — сам Бог нам тебя послал. Словно долго шли и домой попали.

— Вот Бога и благодари, — игумен поднялся. — А зовут-то тебя как?

— Клемент.

— Поспи ещё, Клемент, набирайся сил, если надо чего будет, скажи братьям или отцу келарю, а можешь и ко мне приходиться в любое время.

Утром следующего, как и каждого дня в монастыре совершалась отцом Сергием Литургия. Братия и странники собирались в церкви Святой Троицы. Горящие ряды свечей на подсвечниках и огни в руках людей высвечивали образа на иконостасе, ведущие в алтарь резные царские врата, самим игуменом сработанные. В неспешно идущей службе дивный церковный хор и голос

священника, то сливавшиеся, то чередовавшиеся, приближали самую главную и таинственную часть Литургии верных, когда приготовлены Честные дары, Они уже стоят в алтаре на престоле. Вино в потире — расписной деревянной чаше, на деревянном дискосе, блюде, частицы просфор: готова Святая трапеза.

Сойдёт Дух Святой, наполнит вино кровью Спасителя и хлеб просфор Его Телом. В память о последней земной трапезе Христа, Тайной вечере, где вино и хлеб, по слову Его, стали Телом и Кровью, и принимающие их апостолы получили жизнь вечную. Господь, осенит, наполнит Собой и эту Святую трапезу, в вечное воспоминание той — первой.

Отец Сергей, поменявший старую рясу на ризу из крашенины, торжественно и вдохновенно молился у престола в алтаре, преклонив колени.

Услышит слугу своего Господь. Придёт Святой Дух, наполнится Им убогая церквушка в монастыре на Маковице.

Кровь Господа, пролитая за людей, и Тело, измученное ими, освятят, как в каждую Литургию, в храме Господа, в доме Его братьев и сестёр, ждущих Даров за спиной отца Сергия.

Блистающий огонь осенил алтарь, пробежался по жертвеннику, охватил отца Сергия и стёк вниз, обняв престол со стоящими на нём Дарами.

Горяча молитва. Это свершится, Господи, причастятся люди, станут частью Тебя.

Неопаляющий огонь, взметнувшись вверх от престола, свернулся языком пламени и стал опускаться в чашу, медленно погружаясь в вино, как будто оно втягивало в себя сияние, потир наполнился кровью с огнём.

После службы еkkлесиарх Симон, старший в храме, потрясённый видом огня в алтаре, невпопад отвечал на вопросы братьев, забывал отдавать обычные распоряжения и боялся глаза поднять на отца Сергия.

Наконец игумен сам спросил Симона:

— Случилось что? Отчего ты так бледен?

— Я видел Духа Святого, что действует с тобой, отче, — прошептал еkkлесиарх.

— Ты не должен никому говорить об этом, пока я с вами, — строго приказал игумен, но, посмотрев на дрожащего Симона, смягчился. — Послушай, Бог показал тебе то, чего не видят другие, не говори о происшедшем братьям и не устрашайся так сам. Не каждый ли раз, призывая Духа Святого, совершаем мы таинство Евхаристии? Почему же пугает тебя то, во что ты всегда верил, но чего не видел глазами?

— Господи! Пресвятая Богородица! Верую, отче Сергей, всегда верил, но рядом с

тобой верю как никогда, — экклесиарх поклонился игумену и не разогнул спины, пока тот не вышел из церкви.

У монастырских ворот, прерывающих часток ограда, остановился крестьянин. Несмотря на то, что уже больше недели как прекратились дожди, одежда его и особенно лапти были испачканы грязью; дороги в лесу высыхали медленно. Крестьянин, поворачиваясь и так и этак, постарался получше отряхнуть рубаху и штаны, лапти же старательно обтёр о траву, затянул потуже пояс, поправил шапку, котомку снял со спины, взял её в руку и только после этого вошёл в монастырские ворота. Поклонившись в пояс старцу Онисиму, сидевшему у ворот, крестьянин спросил:

— Как бы мне, уважаемый, игумена вашего повидать?

— Елисей! — позвал своего сына и келейника старец. Тот сразу появился на пороге сеней стоявшей рядом с воротами кельи. — Не знаешь, где сейчас игумен? Человек вот к нему пришёл.

— Откуда мне знать, — пожал плечами Елисей, — утром шил одежду с братьями, потом в пекарне был, и дрова колот, и в трапезной был, и в церкви, и с болящими... по всему монастырю искать надо. Лучше у Михея, келейника его, спросить. Братья! —

позвал он проходивших мимо двух монахов. — Проводите человека к Михею в келью.

Крестьянин поблагодарил Онисима с Елисеем и побежал вслед за монахами.

— В огороде игумен, — ответил на вопрос братьев об отце Сергии Михей, глядя на переминающегося с ноги на ногу мужика.

— Дело у меня к нему. Издалека я пришёл. Увидеть его мне нужно, — уверенно начал тот.

Но Михей его успокоил:

— Нужно, так я провожу к ограде вокруг наших грядок. Только подожди, пока игумен закончит работу. Он у нас огородник знатный, — по дороге с гордостью стал рассказывать Михей, — из Ростова родом, семена земляки ему присылают, а уж урожай какой выходит, красота.

В щель нечастой ограды Михей показал крестьянину отца Сергия, мотыгой взбивавшего освободившуюся грядку: хотя влажная земля ещё была рыхлой и легко разваливалась мягкими комьями, по лицу игумена, заканчивающего работу, тёк пот. Землёй измазался подол его старой, в нескольких местах заплатанной рясы, землёй были вымазаны руки, потому что отец Сергей иногда пальцами разминал комья, вынимая из них камни, которые складывал на дорожке у грядки.

— А где же ваш игумен? — удивлённо спросил крестьянин.

— Так вот ж, у грядки, — Михей ещё раз показал рукой за ограду.

Несколько минут крестьянин и Михей безмолвно смотрели друг на друга.

Наконец крестьянин не выдержал.

— Зачем ты смеёшься надо мной, монах. Я шёл неделю почти без сна по лесам, где дикие звери и разбойники. Семью свою оставил, хозяйство, — он готов был расплакаться, но взял себя в руки, — не обижай меня, монах! Ничего худого я тебе не сделал. Немного прошу — покажи мне вашего игумена!

— Да я и показываю его тебе, — Михей растерялся.

Лицо крестьянина покраснело, стало злым.

— Братья! — Михей позвал проходивших мимо с корзинами монахов, те поставили на землю поклажу и подошли ближе. — Братья, человек этот хочет видеть игумена, я показал ему, — он махнул головой в сторону огорода, — не верит, что это отец Сергей.

— Это наш игумен, — закивали монахи, — правда!

— Да вы все стоворились! Думаете, я выжил из ума? Облезлого, убогого старика-монаха показываете мне, у которого сермяжная ряса в заплатках. Думаете, я не знаю,

кто такой Сергей? Вся Русь идёт к нему на поклон! Святой Дух с ним! Он больных исцеляет! Ребёнка по слезам отца его воскресил! Святой источник по молитвам его открылся! Князья к нему на поклон едут! Мирит он князей, войны между ними останавливает! Бедным людям он защита от притеснителей! Каждого странника принимает его монастырь, скольким христианам жизнь тем спасает! Да такому человеку отроки ли не будут прислуживать или одежду богатых пожалеет кто?! А вы мне нищего показываете, за пророка его выдавая!

В это время из калитки вышел сам отец Сергей.

— Отче, — обратился к нему взволнованный Михей, — этот человек гнушается тобой, не верит, что ты наш игумен. Позволь нам выгнать его?

— Выгнать его! — заволновались и остальные братья.

— Не к вам он пришёл, а ко мне. А если что не нравится нам, людям духовным, в поведении человека, помочь ему нужно, исправить, как учил апостол, а не порицать. — И он внимательно рассмотрел крестьянина, то и дело нервно поглаживающего бороду или поправляющего пояс.

Монахи молча разошлись.

— Старец, добрый человек, почему они обидели меня, ещё и выгнать хотели, а я

целую неделю шёл сюда. Разве многого я хотел — только повидать вашего игумена, — пожаловался мужик.

До земли поклонился крестьянину отец Сергей, потом расцеловал его по русскому обычаю.

— Не печалься, Бог милостив к этому месту, что ни попросит человек тут, то сбывается, никто не уходит отсюда печальным. И ты получишь чего хочешь. Подожди, потерпи немного.

Уже и игумен помыл руки, и крестьянину предложил умыться с дороги, и в трапезную проводил его, покормить после дальней дороги, но обида не давала покоя мужику. За столом в трапезной, глотая похлёбку ложку за ложкой, закусывая её пареной репой и квашеной капустой, доедая последний кусок от целого карава хлеба, крестьянин продолжал жаловаться:

— Один ты меня пожалел, добрый старик, остальные только посмеялись. Почему не могу увидеть я вашего игумена? Почему не хотят показать мне его? Да, я простой хлебопашец, бедный человек, но ведь не вор, не убийца, стараюсь жить по совести...

Неожиданно дверь в трапезной с грохотом отворилась, вбежал запыхавшийся от спешки Елисей.

— Отче, князь Владимир Андреевич Серпуховской пожаловал и целый обоз с ним! Спешиваются у монастырских ворот!

Отец Сергей направился во двор навстречу князю. Там уже собралась вся братия. К игумену подошли келарь Илия, экклезиарх Симон, духовник монастырский Савва, брат Стефан и другие старцы.

Князь в богато расшитом кафтане, в высокой меховой шапке, войдя в монастырские ворота, первым делом остановился, снял шапку и перекрестился на крест церкви, вслед за ним то же сделали бояре, отроки и слуги. Неторопливо, с достоинством шествовал князь по обители; справа и слева от него вооружённые слуги, телохранители, в вежливом полуобороте, чуть склонив головы, оберегали его путь, сзади на небольшом расстоянии следовала остальная свита.

Не доходя до трапезной, когда можно уже было рассмотреть лицо игумена, Владимир Андреевич остановился, замерла и вся процессия, князь в пояс поклонился отцу Сергию, а вслед за ним и остальная свита. В ответ игумен склонился перед всеми пришедшими в его обитель. Дальше князь пошёл быстрее. Отец Сергей благословил гостя, и они расцеловались.

Монахи расступились, пропустив первыми в трапезную телохранителей, немедлен-

но выпроводивших вон не доевшего свой обед крестьянина.

В красном углу трапезники быстро поставили на стол обычный монастырский обед — похлёбку, хлеб и овощи, прибавив к ним только лесные ягоды и квас. Украшенной вышивкой тканью покрыли лавку.

Игумен и князь сели во главе длинного стола, с другой его стороны у стен перед самой дверью остались стоять бояре, воины, отроки гостя и монастырские старцы; прочие толпились на улице, с любопытством заглядывая в открытую дверь.

— Несколько дней как я вернулся из Москвы, — начал разговор князь, после еды отряхивая с бороды крошки хлеба; говорил он негромко, чтобы слышать его мог только игумен.

— Здоров ли великий князь? — отец Сергей повернулся к собеседнику.

— Бог милостив, здоров великий князь, — Владимир Андреевич придвинулся поближе к игумену. — Видел я и митрополита Алексея. Просил он передать, что ждёт тебя в Москву, прийти просил немедля. Не оставить ли тебе коня или лучше повозку?

— Нет, я привык пешком, так мне сподручнее.

— Как знаешь, — пожал плечами князь. — Скоро вся Москва будет за каменными стенами, быстро строят. Закончат — не стра-

шен будет великому князю никакой неприятель, за такими стенами любую осаду можно выдержать.

— Какие ещё новости в Москве? — отец Сергей отвёл взгляд от лица гостя.

— Тяжко, отче, — князь нахмурился, его серые глаза под мохнатыми бровями потемнели, — едва оправилась Русь от поборов посла татарского Кошана; всех князей обобрал, все города нищими оставил, сколько пожёт тех, кто не смог собрать харадж, дань, какую он хотел. — Владимир Андреевич потёр загорелый, обветренный лоб. — Да ты и сам, отче, знаешь... Только стали люди в себя приходить, как начался мор — чёрная смерть. Не только деревни, целые города вымирают. Часто сразу по сорок человек отпевают. Гробов не хватает, по несколько человек вместе хоронят. В Смоленске всего пятнадцать осталось жителей! В Белозёрске — ни одного! Весь город вымер! Дороги полны нищих, такие наши новости.

— Знаю, — кивнул отец Сергей, — каждый день приходят к нам странники и рассказывают о своих бедах, кажется, уже и уголка на Руси не осталось, чтоб вместить ещё горе, а оно всё прибывает: татары, литовцы, мор...

— И князья никак не угомонятся, — Владимир Андреевич не удержался, перебил игумена, но тут же спохватился, — прости, отче,

не мог смолчать! Князь Борис Константинович Суздальский захватил у своего брата Дмитрия Нижний Новгород. Великого князя не признаёт, упирается. Быть войне.... ох, быть! — он с досадой передёрнул плечами. — Устали люди, им бы хоть немного передышки, не хватало ещё между собой воевать!

— Мало в мире любви к ближнему. Родной брат идёт на брата, не боясь Божьего гнева, и кровь Бориса и Глеба не останавливает. Для христианина возлюбить людей — значит исполнить наиглавнейшую заповедь Спасителя, а тут грех-то какой: русских делают врагами русских же. Берут на душу грех Каина, не ведают люди, что творят.

— Знаю я, отче, — князь заговорил шёпотом, — в позапрошлом году ходил ты в Ростов, на родину свою, к князю Константину, после того как тот в Орде получил грамоту на самостоятельный удел, чтоб не признавать великого князя. Ты убедил его, отче, подчиниться Москве. Слово твоё и вера сильнее меча. Нам бы всем такую веру, тогда бы устояли.

— Бог с тобой князь. Что в наших убогих силах? Молитвой пребывает человек. Помнишь: не усомнись, и по воде пройдёшь, как по суше. Не сомневайся князь — и ты многое сможешь.

— Да как же не засомневаться, когда кругом такое творится?

— Именно сейчас верность и нужна. Слышал — Литургия верных. Верных.... А думал, почему так важно это слово? Чтоб как в притче Христа, зерно дало плод во сто крат, нет у нас права не выстоять. Ты князь, значит, отвечаешь за людей, которые вокруг тебя. Кто не слаб? Ничтожный, как всякий человек, как каждый, первородным грехом меченный, бедный инок Сергей не слаб? Остаешься сегодня на службу, Владимир Андреевич, помолись с нами, причастись.

— Для того и приехал, — князь без стеснения долго смотрел в лицо отцу Сергию. — Отче, я твоим монахам и странникам гостинцев привёз, припасов разных.

— Благослови тебя Бог, нынче больше обычного нищих приходит к нам, помощь твоя пригодится, — поблагодарил игумена гостя. — Пойдём, ты давно у нас не был, покажу, что нового у нас появилось. Да пусть братья людей твоих покормят, им с дороги отдохнуть надо.

Пока князь с отцом Сергием беседовали, крестьянин, выпровоженный телохранителями на улицу, пытался заглянуть внутрь трапезной из-за спин монахов, плотным полукольцом окруживших дверь. Любопытство разбирало его, что там происходит, как принимают князя, и, главное, он был уверен: теперь-то точно появится игумен, наверняка придёт встречать гостя. Но мужи-

чок был небольшого роста и как ни поднимался на цыпочки, не мог заглянуть выше плеч плотно стоявших людей; наконец он поднатужился и протиснулся между двумя монахами. Крестьянин увидел старца, с которым недавно сидел за тем же, что и князь, столом. Мужик обратился к стоявшему рядом послушнику:

— Скажи, братец, кто это сидит по правую руку от князя?

— Да ты что?.. — послушник от удивления потерял дар речи и захлопал глазами. — Это же наш игумен. Как можно прийти в этот монастырь и не слышать об отце Сергии?

— Это точно Сергей? — опешил крестьянин.

— А кто же ещё? — удивились стоявшие рядом монахи и слуги князя.

— А тебе-то что нужно от Сергия? Что вы тут бродите изо дня в день? — вмешался в разговор проходивший мимо Стефан, зло сверкнув глазами на мужичка.

Мужик выбрался из толпы, посмотрел ещё раз на людей, окруживших дверь, горестно всплеснул руками и побрёл по монастырю, не обращая внимания на полувысохшие лужи, по которым ступал, на пни, о которые спотыкался. Он бродил вокруг церкви, между кельями и говорил сам с собой:

— Что ж я наделал? Неделю шёл, чтоб в ноги игумену Сергию поклониться, речь к нему готовил. Он меня, как родного встретил, а я... — мужик схватился за голову, — обидел его, обзывал, страшно вспомнить. Как я теперь на глаза ему покажусь? Провалиться мне от стыда!

Крестьянин решил было тихо уйти домой, но тут увидел Михея, вышедшего из церкви.

— Добрый человек, — бросился к нему мужик, — прости ты меня Христа ради, теперь я понял, что сдуру не узнал вашего игумена. Прости за глупые слова и не откажи, попроси вместо меня прощения у отца Сергия за то, что оскорбил я его своим невежеством, — он поклонился Михею и собрался уходить.

Но Михей остановил его:

— погоди, уедет князь, вместе пойдём к отцу Сергию, сам с ним поговоришь.

Вечером Михей привёл крестьянина в келью к игумену. Мужик с порога бросился отцу Сергию в ноги.

— Прости, отче, прости, как обезумел я. Прости ради Христа!

— Не убивайся так, — отец Сергей сел на лавку, — присядь. Никакого вреда ты мне не сделал.

— Стыд какой, — мужик присел на краешек лавки, но глаза боялся поднять, — как

ополоумел, обидел тебя. Монахи, князь, какую честь великую тебе отдают, а я дурак дураком. Прости, отче.

— Не скорби, никакой обиды ты мне не нанёс. Это они все ошибаются. Один ты правильно обо мне рассудил. Все мы едины во Христе. Кто первый, кто последний — знает только Бог...

— Отец Сергей, правду люди говорили, — поднял глаза крестьянин. — Теперь я знаю истину о тебе — что слышал, то и увидел.

Утром отец Сергей собрался в Москву, взял с собой только брата Якуту, привыкшего к частым походам. К воротам игумена провожали монастырские старцы, выслушавшие его последние поручения.

— Скоро меня не ждите, если сам митрополит звал, то не по пустяковому делу. С вестью о себе пришлю Якуту, — остановившись у кельи вратаря Елисея, отец Сергей отвёл в сторону келаря. — Надеюсь на тебя, Илия, старайся, пока не будет меня, чтоб монастырь жил по новым правилам.

— Не просто это, отче. Когда ты с нами, братья, если чем и недовольны, молчат, — вздохнул келарь, — а уходишь, трудно мне с ними справляться. Ропщут, говорят, что в заботе о душе своей пришли в монастырь, а не работать по хозяйству день и ночь.

Странноприимством также многие недовольны. Боюсь, уйдёшь, будут ли с охотой помогать нищим.

Отец Сергей позвал к себе остальных старцев.

— Об одном попрошу вас, сколько лет мы вместе подвигаемся, сколько вместе пережили, и верили вы всегда моему слову. Чтоб процветало вовек это место, должно у нас быть нерушимое правило: каждый, кто нуждается в нашей помощи, должен получить её. Ни один странник, постучавший в эти ворота, — игумен посмотрел на Елисея, стоявшего у ворот, — не должен уйти прочь голодным, замёрзшим. Люди идут в нашу обитель с надеждой, часто последней. Понимаете ли, что монастырские ворота не могут затвориться перед страждущими? Понимаете ли, что только милосердием устоит обитель Святой Троицы? — он обвёл глазами лица отцов Илии, Саввы, Симона, Стефана.

Старцы молча поклонились ему.

— Так и будет, как ты говоришь, — от имени всех ответил духовник Савва.

Брат Якута в нетерпении поправлял котомку за плечами, поглядывая на солнце, шурил свои раскосые, узкие глаза; пора было отправляться в дорогу. Отец Сергей, выходя из монастырской ограды, пропустил вперёд Якуту, оглянулся ещё раз, осмотрел старцев,

монастырские кельи, крест церкви и перекрестился.

— С Богом!

Они пошли не по дороге — просеке, прорубленной в вековом лесу, покрытой ухабинами и плохо засыхающей грязью; не мимо хуторов крестьян, давно селившихся вокруг монастыря, а по глухим дорожкам в чащобах леса. По тропинкам с летающей паутиной, щекочущей лицо, с бьющими наотмашь ветками, отскакивающими от идущего впереди человека. Отец Сергей хорошо знал окрестности своей Маковицы, но, задумавшись о чём-то, положился на своего проводника, пошёл за ним след в след.

Якута вернулся в монастырь на Маковице уже осенью. Отоспавшись после дальней дороги, в трапезной он рассказал братии, как, ни дня не мешкая, из Москвы с купцами шли они с игуменом сначала с обозом к Волге, а потом плыли до Нижнего Новгорода. По поручению великого князя и митрополита отец Сергей встретился с князем Борисом Константиновичем Суздальским, отвоевавшим у своего брата Нижний. Но сколько игумен с ним ни беседовал, как ни уговаривал не проливать христианскую кровь, как ни склонял к миру с братом, говоря о любви во Христе, — упорствовал жестокосердный и упрямый Борис. Так как князь

нипочём не хотел покориться приказу Москвы, о том отец Сергей послал весть великому князю. Тогда московские полки выступили в поход против строптивного Бориса, в защиту обиженного им брата Дмитрия.

А отец Сергей в это время властью митрополита затворил все церкви Нижнего Новгорода. Замолчали колокола, погасли лампы у икон, больше ни одной службы, ни одной молитвы не возносилось в храмах. Не стали отпевать покойников, не крестили больше детей. Ужаснулся народ, когда тишина покрыла город; знаменитый певучий колокольный звон десятков церквей больше не разносился на многие вёрсты вокруг. Онемел православный город.

Народ испугался, пошёл к князю, и дрогнул гордый Борис Константинович: какая уж тут война, когда собственные люди в смятении; направил он посольство к великому князю с покаянием, и вернулись московские полки домой.

Борис покинул Нижний, только тогда вдогонку ему и в посрамление запели все колокола города, звонили, радовались целый день. Отворил отец Сергей все церкви и молился с народом, благодарил Бога за то, что Тот спас много христианских душ от гибели.

Ещё прибавил Якута, что можно ждать возвращения отца Сергия со дня на день.

Через неделю после возвращения Якуты пришёл в обитель и отец Сергей, осунувшийся, с тёмными кругами вокруг глаз; нелегко далось ему противостояние, тяжело было исполнить поручение митрополита и добиться мира там, где давно не было его между братьями. Игумен затворился в келье и долго молился. Никто не смел мешать ему, даже Михай на время перебрался в другую келью.

Наконец игумен позвал к себе Илию.

— Как дела в обители? — отец Сергей рассматривал не поднимавшего глаз келаря. — Исполнили мой наказ?

— Прости, отче, — Илия ещё ниже опустил голову, — брат твой Стефан распорядился отослать часть странников по домам, долечиваться. Как будто у них есть дома... — прибавил он тихо. — Не мог я с ним спорить, отче, брат ведь он твой старший, вместе с тобой основал этот монастырь. Как мне с ним спорить? Да и многие из братии слушают его, согласны с ним... — келарь замолчал.

— Продолжай, говори, я должен знать всё, — попросил его игумен.

— Не нравится ему, что хозяйствуем мы сообща. Нет, не могу я дальше говорить...

— Прошу тебя, Илия, мне нужно знать твои мысли.

— Горд Стефан очень. Да любит ли он людей-то?! — келарь повысил голос и уже окончательно замолчал.

— Так, так, — устало и печально вздохнул игумен, — теперь я вернулся, и порядки в нашем монастыре остаются прежними: странников принимать, кормить, лечить, располагать на ночлег, каждому монаху послушание по хозяйству, мною назначенное, нести без ропота; в свободное же время заниматься чтением душеполезных книг, молитвой, рукоделием, а не пустыми разговорами. Кто спорить с тобой станет, присылай ко мне.

— Тут, отче, брат Фёдор, иконописец, племянник твой, пришёл со мной, ждёт у двери, дело у него к тебе, — перед уходом сказал Илия.

— Отчего ж он сразу не зашёл? — удивился игумен. — Когда для него была закрыта моя келья?

— Да больно дело у него важное, наедине он говорить с тобой хочет. Очень ждал тебя из Нижнего, — улыбнулся келарь. — А я пойду. — Илия вышел в сени, откуда слышался его голос: — Входи, Фёдор.

— Расскажи, что за срочное дело у тебя, — благословив вошедшего племянника, сел удобнее отец Сергей и предложил, — садись рядом со мной. Давно мы не говорили с тобой обстоятельно.

— Закончил я образ Богородицы для кельи Данилы, пока не было тебя; ещё написал Николая Чудотворца.

— Хорошо, видел я их, — кивнул игумен, — ты давно уже настоящий мастер.

— Отче, я вырос в нашем монастыре, люблю его как свой дом, — Фёдор волновался, начал говорить быстро, — только хочу много церкви послужить. Дети должны уходить из дома и приносить больше пользы. Чтоб вся русская земля была оплотом веры Христовой, чтобы вся покрылась церквями и монастырями, нужно каждому постараться — не так ли ты нас всегда учил, отче? Брат Андроник обитель на Яузе уже отстроил, старцы наши ушли для строительства Чудова монастыря в Московском Кремле. Ты благословил их всех, благослови и меня. На Москве-реке в Симонове нашли мы с братьями место. Отпусти со мной нескольких товарищей, что согласились претерпеть тяжесть жизни в пустыне и труд строительства новой обители, — Фёдор стал на колени перед игуменом.

— Горько мне с тобой расстаться, — отец Сергей отвернулся, чтобы племянник не мог видеть его лицо, только сдавленный голос выдавал душевную боль. — Ребёнком отец привёл тебя ко мне, в четырнадцать лет ты уже принял постриг. Однако, правда, нужно служить дальше. Бери товарищей, бери припасы. Я сам приду к вам и благословлю на жизнь в новом месте. Обитель, что построишь ты, всегда будет родственной нашей, как

ты всегда будешь мне родным. В чём нуждаться будешь, приходи сюда за помощью.

— Отец Сергей, — Фёдор склонил голову, прислонив лоб к руке игумена, — мы поставим келью для тебя, чтоб в любое время ты мог пожить у нас. Порядки устроим, как ты учил, и хозяйство общее.

— Благослови тебя Бог, — перекрестил склонённый к нему лоб племянника отец Сергей. — Вскорости приду к вам на помощь. Лишний плотник на стройке не мешает? Думал, станешь преемником моим, что в твои руки передам монастырь Святой Троицы, но, видно, Богу угодно иное.

— Прости, отче.

— Трудное дело затеваешь, — продолжал игумен, — крепись. Крепись мальчик! Много нужно терпения. Тяжёлый будет труд, но ещё труднее будет с людьми. Молись, чтобы дал Бог мудрости, а я никогда не оставлю тебя.

— Прости меня, отче, — Фёдор встал с колен, перекрестился на иконы и ушёл.

Отец Сергей долго всматривался в иконы Богородицы и Николая Чудотворца сквозь огонёк и копоть лампадки, потом открыл на аналое большую книгу, медленно зашевелились губы, тихо запели слова. Шёпот молитвы над пергаментом листов рукописной книги, глядящие с образов святые глаза — нежность, сладость и тайна уеди-

нённой молитвы, унимающей боль, врачующей душевную рану, неизбежную при расставании с близким, родным человеком.

Прошло больше месяца, как возвратился отец Сергей из Нижнего Новгорода. В субботу, как обычно, шла служба в храме Святой Троицы, игумен углубился в молитву в алтаре, братья на клиросах пели душевно, печально, шёл очередной дарованный Богом день.

На левом клиросе неожиданно резко зазвучал голос Стефана, такой громкий, что и в алтаре нельзя было его не услышать.

— Кто дал тебе эту книгу?! — обратился он к канонарху, следившему за пением.

— Игумен... — растерялся тот.

— Кто в этом месте игумен?! Не я ли был старшим из двух братьев, основавших это место?! — в гневе Стефан уже не мог себя сдерживать, перешёл на крик. — Что происходит в этом монастыре?! Порядки такие, что иноки бегут прочь! Разве не о спасении душ должен печься игумен?! А инокам и помолиться некогда за работой! Монастырь нуждается, а деньги благодетелей уходят бродягам! Скоро обитель совсем опустеет! Игумен?! Нет в этом месте игумена! Дай сюда эту книгу, — он вырвал из рук канонарха книгу, — возьми ту, что я тебе сказал!

Канонарх, испуганно вжав голову в плечи, взял другую книгу. Братия давно уже не

пела, внимательно слушая Стефана. Прекратилась общая молитва о смирении братьев и священника.

Опустились плечи отца Сергея, отступили от его спины ангелы, потревоженные грубым окриком среди священной службы. В церкви повисла пауза, страшная тишина вражды вместо радости молитвы.

Первым снова запел Стефан, его красивый, мощный голос наполнил храм, отголосками певец будто вторил сам себе. Братья по одному стали сначала нерешительно, но постепенно уверенней поддерживать его, хор вновь восстановился и звучал, как и раньше. Казалось, ничего не изменилось, голоса правильно и красиво вели мелодию. Только за царскими воротами, в алтаре игумен Сергей вдруг остался один в своей теперь уже горькой молитве.

Закончилась служба, никто после неё не посмел подойти к игумену, храм опустел, монахи направились в трапезную. Отец Сергей совлачился священных одежд, надел свою старую, в заплатах рясу, убрал в церкви после службы, затушил все свечи, поплёвывая на пальцы, оставил горящими лишь лампы у местных икон, поправил фитилёк каждой из них, подлил масла, где нужно было. Обошёл в последний раз храм, осмотрел иконостас, резанный им самим, к узорам на царских воротах даже притронулся

рукой, помолился на дорогу и, выйдя из церкви, не заходя ни в трапезную к братии, ни в свою келью, никем не замеченный, вышел из ворот обители в лес.

Лес показался ему родным и домашним, не стёрлась ещё память о том, как долго он жил тут один, после ухода в Москву брата, не выдержавшего трудностей лесной жизни. Привык отец Сергей к пустынной чаще и одиночеству в начале иноческого пути; люди пришли к нему позже, только из сострадания принимал он их, неприкаянных. Теперь же он снова принадлежал Богу и себе.

Отец Сергей шёл по дороге в Кинелу; когда стало смеркаться, трудно уже стало различать просеку, он свернул в лес. Среди деревьев нашёл сухое место, небольшой пригорок. Собрал копну подсохших опавших листьев, разбросанных щедрой осенью. Их пряный запах, яркое многоцветье, казалось, создавали первородную постель, принимавшую на ночь древнего человека, не имевшего ещё дома.

Зарывшись в листья, отец Сергей помолился и спокойно уснул. Утром он направился в обитель своего старого друга, стоявшую на реке Махрищи, в тридцати пяти верстах от монастыря Святой Троицы; и была она также названа в честь Святой Троицы.

Стефан Махрицкий, услышав, что к воротам его монастыря пришёл отец Сергей,

велел ударить в било и в окружении братии почти бежал навстречу другу. Его длинные худые ноги путались в рясе, наполовину седая борода развевалась на ветру. Он поклонился отцу Сергию в ноги, когда тот уже и сам согнулся в поклоне.

— Благослови нас, отче.

— Мне пристало, игумен, просить у тебя благословения как у хозяина, — ответил тот.

Некоторое время они так и стояли в поклонах, прося друг у друга благословения. Наконец отец Сергей сдался и благословил гостеприимного хозяина и его братию. Все вместе сразу направились в церковь для совместной молитвы, в это время в трапезной уже накрыли столы. После обеда, довольный неожиданным приходом друга, махрицкий игумен показывал ему новый амбар, запасы на зиму, большую избу для странников и, наконец, позвал отдохнуть с дороги в свою келью.

Отец Сергей не без удовольствия расположился на лавке в небольшой уютной келье, освещённой только тусклым светом из слюдяного окошка и огоньком лампадки у икон.

— Я покинул свою обитель, — начал разговор отец Сергей.

— Боже... — только и смог выдохнуть махрицкий игумен.

— Пришёл попросить у тебя спутника себе, знающего хорошо окрестные леса, чтоб найти место для новой пустыни.

— Погоди, погоди, Сергей. Ты ушёл из своего монастыря насовсем? Я не ослышался? — в волнении игумен Стефан прошёлся по келье. — Как такое могло случиться?

— Я должен был уйти. Ты знаешь, что полгода назад мой старший брат оставил игуменство в московском Богоявленском монастыре и пришёл к нам. Ему не понравилось общежитие наше. В монастыре некоторые и до него роптали, уходили даже. Много труда тяжёлого, да ты и сам знаешь, и вы начинаете жить сообща. Теперь мой брат хочет стать игуменом в нашем монастыре на Маковице и вернуть время, когда каждый инок был сам по себе.

— Неужто он ссору затеял с тобой, отче? — Стефан Махрицкий остановился напротив гостя.

— Нет, спора не было, — покачал головой отец Сергей.

— Но почему?! Почему ты не убедил его и братию?!

— Нет, друг мой, в желании игуменства корень властолюбия. Он бывший игумен и брат мне старший, как докажешь людям, не вводя их в соблазн, что не о власти наш спор. Я люблю мою обитель и не власть мне в ней нужна, а хочу, чтобы были покой и любовь её детям.

— Да как же монастырь будет без тебя? — Махрицкий игумен сел на лавку. — Ты, который помогал строить каждую келью, руками которого вырезан каждый узор в церкви, ушёл прочь. Ты же был монахам своим как раб купленный, в прежние годы зимой по утрам каждому к келье приносил дрова и вёдра с водой, жалея их. Я ли тебя не знаю, и в огороде, и в пекарне, и в швейной, и в столярне — везде первый. Как могла на тебя подняться рука у твоего брата, не сам ли он ушёл, бросив тебя одного в пустыне, двух месяцев жизни в лесу не выдержал, бежал в Москву. А теперь вернулся и ...

— Это всё неважно, человек слаб, что уж тут нового, — перебил друга отец Сергей, — и труды наши не в заслугу, а только укрепляют нас. Другое мучает меня: я был игуменом, Господь дал мне этих людей, что скажу Ему, когда призовет Он меня? Всё ли я сделал для их душ, уберегал ли от соблазнов? Нет ли в чём моей вины?

— Нет! Нет! Только не твоя вина, отче, — Стефан Махрицкий замахал руками. — Вспомни, сколько раз уговаривали они тебя стать их игуменом, а ты отказывался. Разве не по приказу епископа Афанасия Волынского согласился ты взять на себя это бремя?

— Может быть, ты и прав. Теперь не хотят они моего игуменства, пусть простит меня Бог, только чувствую я облегчение.

Мне бы удалиться в пустыню для молчания и молитвы. Пусть будет милостив ко мне Господь.

— Отче, в этом монастыре ты можешь распоряжаться как в своём. Возьми всё, что нужно, я сам помогу собрать необходимое и товарища тебе дам в дорогу. В чём будет нужда, ты только пришли гонца, из монастыря будут приходить братья и с пищей, и на подмогу. Постройшь себе новый монастырь, лучше прежнего. Когда бежал я из Киева от преследования латинян, то шёл куда глаза глядят, долго блуждал в лесах, а теперь у меня монастырь, и друга такого, как ты, дал мне Господь. Помнишь, первое время сколько помогал ты мне. Всё образуется, истина своё возьмёт. А сейчас только об одном попрошу: погости у меня несколько дней.

Через два дня отец Сергей покинул Махрищскую обитель, взяв с собой инока Симона. Сам Стефан Махрищский три версты провожал уходящих, так жаль ему было расставаться с любимым собеседником.

Наконец у лесного источника, где путники отдохнули и напились воды, пришло время проститься.

Махрищскому игумену до боли было жаль друга, когда смотрел он, как тот по лесной тропе, начинающейся у ручейка источника,

идет, опираясь на палку, в старой, в заплатах рясе, наклоняясь под тяжестью громоздкой котомки за плечами. И хоть понятно было, что для такого человека весь мир дом, что ничто, никакие стены, никакая власть и слава не нужны ему, и всё же у Стефана болела душа. Часто своя обида легче переносится, чем обида близкого человека.

Отец Сергей шёл по лесу и всё больше и больше чувствовал, что вернулся домой. Казалось бы, его обитель на Маковице тоже стояла в лесу, шум потревоженных ветром деревьев часто напоминал об этом, а ещё постоянный, уже едва заметный аромат хвои; и всё же монастырская ограда, люди, суэта с ними превращали его вчерашнюю пустыню почти в город. Теперь же, когда он вновь принадлежал себе, так получилось, что все сосняки, березняки и ельники тоже стали принадлежать ему, потому что он, как много лет назад, искал место для своего нового дома.

Сосновый бор на круче над незнакомой рекой, белизна берёзовой рощи, поляна среди дубравы или непроходимые заросли кустарников — любое место могло стать ему домом. Сейчас чужое, отстранённое, оно готово было принять его, блуждающего с товарищем странника, и превратиться со временем в родное, знакомое до последней веточки и кочки.

Богатство свободы, настоящая воля лесных просторов совсем излечили отца Сергия от тяжёлых раздумий.

Свою новую пустыню он узнал сразу — дивной красоты место над рекой Кержач: далёкий вид на реку, берега в зелени хвои и разноцветье осенних листьев, лес чистый, сухой, словно убранный к приходу двух странников. Сначала воду можно было брать из реки, а в ближайшей ложбинке, он знал точно, если вырыть колодец, будет он полон.

Брат Симон, молодой крепкий парень, был немного смущён и напуган строгим наказом махрицкого игумена — во всём помогать старцу, глаз с него не спускать, беречь, опекать, беспрекословно ему подчиняться. Но как только нашлось место, где отец Сергий решил поселиться, Симон сразу повеселел.

Вдвоём работалось легко, может быть, ничто не сближает людей так, как совместная работа. И особенно есть какая-то необъяснимая тайна в постройке своего дома своими же руками, когда каждое брёвнышко, доска будто из души наполняются грядущим теплом родного очага. Словно складывают вместе души строящие для себя жилище люди, они становятся от этого друг другу ближе; и дом, построенный своими руками, оказывается не просто местом проживания, он — продолжение человека, часть его. Как

обитает в теле душа, так тело надёжно поселяется в построенном им самим жилище.

Ко времени окончания строительства кельи отец Сергий и брат Симон были уже не просто случайно сведёнными судьбою людьми; неуловимое родство общего дома сделало их близкими.

В монастыре Святой Троицы на Маковице исчезновение игумена заметили только утром следующего дня, когда отец Сергий уже приближался к обители Стефана Махрицкого.

Озабоченный брат Михей постучался в дверь избы отца келаря, не входя и даже не поприветствовав отца Илию, спросил:

— Отче, ты не видел сегодня игумена или вчера вечером?

— Нет, — келарь задумался, — да, правда, не видел. А что?

— В келье он не ночевал, в трапезной вечером не был, в церкви сейчас нет его. Если уходит — говорит мне. Я думал, может, тебе сказал, если ушёл куда по делу.

— погоди, Михей, пойдём у братии поспрашиваем, кого-нибудь он обязательно предупредил.

Они обошли все кельи, у всех спрашивали: у старцев, братьев, послушников и странников — никто ничего не знал, все только плечами пожимали.

После службы в трапезной на общем совете братия решила, что не стоит волноваться, нужно подождать с неделю, авось объявится игумен или весточку о себе пришлёт. Михей вызвался сходить к двум странникам с детьми, что поселились недавно близ монастыря и которым игумен сам помогал избу ставить. Однако Клемент, это был он, ничего не слышал об отце Сергии; и Михей, совсем встревоженный, пошёл назад в обитель. Там он долго молился в своей опустевшей с исчезновением игумена келье.

Всю неделю притихшая братия, безропотно подчинившаяся брату игумена Стефану, обсуждала только один вопрос: «Где отец Сергей?»

У Михея работа валилась из рук, он несколько раз порывался идти искать отца Сергия, но решил всё-таки выждать назначенный срок.

Утром шестого дня, предупредив только келаря, ушёл на поиски игумена Якута, старый товарищ отца Сергия, один из первых двенадцати монахов, пришедших к нему на Маковицу. Якуте не привыкать было ходить с поручениями.

Наконец, утром седьмого дня все иноки и послушники собрались в трапезной, гул их голосов сразу стих, как только на пороге появился брат Стефан. В тишине, под прис-

тальными взглядами он прошёл в дальний угол и сел во главе стола.

Келарь Илия, даже не посмотрев в сторону пришедшего, сказал громко, чтобы услышал каждый:

— Нет больше с нами игумена, никто не знает, где он. Нужно послать людей на его поиски, — келарь внимательно осмотрел лица слушавших его людей.

— Он сам покинул монастырь. Нужно ли его искать? — суровый голос Стефана заставил вздрогнуть Илию.

— Игумен нам дан митрополитом, — вступил в разговор еkkлесиарх Симон, — и никто не имеет права сменить нам игумена, как только сам владыка. Неужто и с этим ты будешь спорить, брат Стефан?

— Если Сергей ушёл совсем, в монастыре всё равно будет назначен новый игумен, — сверкнул глазами Стефан. — Упрашивать Сергия станете? Что ж искать его, если он сам ушёл?

— Нужно искать игумена! — продолжал настаивать на своём Илия.

— Почему ты думаешь, Илия, что заменить его некем?! — повысил голос на келаря Стефан.

— Да как же мы без него? — растерялся келарь.

— Без одного человека не сгинет монастырь! — обратился Стефан ко всей бра-

тии. — Я был в Богоявленском монастыре игуменом, теперь там другой настоятель. На то Божья воля!

— Нам не нужен никакой другой настоятель, кроме Сергия, — раздался чей-то голос из задних рядов.

— В этом монастыре мой брат Сергий был не первым игуменом, — Стефан повернулся в сторону, откуда прозвучал голос, и говорил, всматриваясь в лица братьев. — Основали мы эту обитель с ним вдвоём, но после ухода моего в Москву первым игуменом, по настоянию брата, здесь стал старец Митрофан. И только по смерти Митрофана вы уговорили Сергия стать игуменом! Теперь он ушёл — его воля!

Какое-то время все собравшиеся молчали. В конце концов, Илия, вздохнув, pokrutil головой.

— Нет-нет, нельзя, чтоб отец Сергий просто так ушёл, ничего нам не сказав... Нужно найти его...

— Ну что ж, делайте, как знаете! — окончательно разозлился Стефан и, не ожидая окончания собрания, быстро направился к двери, громко хлопнув ею напоследок.

— Пошлём гонцов в Москву, Радонеж, Ростов, в Симоново к племяннику его Фёдорову, в Хотьково, где могила родителей его, — стал перечислять келарь, — к князю Серпуховскому и... в монастырь к Андронику.

— Я пойду к Стефану Махрищскому, — вызвался Михей.

— Так и порешим, — подытожил Илия, — будем ждать вестей об игумене.

Запылённый, усталый после дальней дороги, часть которой он бежал, вошёл в Махрищскую обитель Михей.

На пороге своей кельи встретил его махрищский игумен.

— Что тебе нужно, монах? За какой надобностью пришёл в нашу обитель?

— Отче, разве ты не узнаёшь меня? Я Михей, келейник отца Сергия, — поклонился Михей.

— Ты обманываешь меня, инок, — сурово ответил ему игумен Стефан.

— Нет, отче, я правду говорю, вспомни меня. Я Михей.

— Знаю я, что ты Михей. Только нет больше в вашем монастыре кельи у отца Сергия. Не келейник ты его! Как могли вы довести до того, что он должен был уйти прочь из обители, созданной его горькими трудами?! Михей, ты был ему сыном духовным. Почему не уберёг его?

— Отче, — Михей упал на колени, — прости, убогий я человек, слепой, глухой, ничего не понимал. Нет, прости, слабый, если и понимал, то молчал.

— Да знаешь ли ты, кто покинул вас? —

горечь прорвалась в голосе махрицкого игумена. — Чистое сердце, какое встретишь разве что у древних пророков, собиратель нашей земли. Сравнить его можно только с Моисеем. Русским Моисеем хочется его назвать. Жаль мне монастыря вашего. И тебя жаль.

— Отче, ругай меня, нет брани, какой я недостойн. Только скажи, где сейчас отец Сергей?

— Ушёл он в леса, новую себе пустыню нашёл, на реке Кержач, в пятнадцати верстах отсюда. Брат Симон, товарищ его теперь, приходил и снова ушёл к нему, ещё с двумя братьями, на подмогу. Построят новый монастырь, не хуже вашего.

— И я к нему пойду, для того искал, чтоб снова с ним быть. Отче, от души тебе говорю — не будет у меня другого игумена, кроме отца Сергия, — поднялся с колен Михей.

— Вот и славно, если так... Переночуй у нас, отдохни с дороги.

Утром, выйдя из Махрицкой обители, Михей ненадолго задумался. С одной стороны, ему хотелось сразу бежать в новую пустыню к отцу Сергию, но и братьев нужно было предупредить. Всё-таки Михей решил пойти сначала в монастырь на Маковицу, а уж потом к своему игумену.

В монастыре, первым делом попросив вратаря Елисея срочно собрать братию, Ми-

хей отправился в свою келью. Там он нашёл большой холщовый мешок и начал складывать в него вещи, которыми пользовался он сам или отец Сергей. Быстро напихивал что попадалось под руку: полотенца, полумантию, книги, миски, чаши, чётки... Сверху всего скарба, аккуратно обернув скатертью со стола, положил две любимые келейные иконы отца Сергия — Богородицу Одигитрию и Николая Чудотворца. С завязанным мешком он отправился в трапезную. Там его уже ждала вся братия.

Михей поклонился в пояс братьям, несколько раз поворачиваясь — чтобы оказаться лицом к каждому, — потом ещё ниже монастырским старцам. Стоял он у порога, готовый быстро уйти.

— Прощайте братья, ухожу я к отцу Сергию. Покинул он наш монастырь. Новую пустыню нашёл для себя на реке Кержач, в пятнадцати верстах от Махрицкой обители.

— Что я вам говорил! — громко, демонстративно перебил Михея Стефан, обращаясь ко всем. — Он сам ушёл, по доброй воле оставил монастырь! Что, неправду я сказал?

— Не может быть у меня другого игумена, кроме отца Сергия, — Михей словно и не слышал слов Стефана. — Душу он мою разбудил, когда взял меня, сироту, мальчишкой в свой монастырь. Он отец мой духовный, — Михей в упор долгим взглядом посмотрел на

Стефана. — Не от земного отца монах, а от Духа. Если не случилось перерождение от Духа, то и не инок человек вовсе. Тебе скажу, Стефан, — повысил он голос, — не брат младший он тебе, потому что это только по крови связь, и тебе и нам он — отец! Потому как душа у него отцовская, любовью полна к Богу и к людям!

Не став дожидаться ответа Стефана, Михей быстро вышел из трапезной.

— погоди, Михей, мы с тобой к отцу Сергию, — раздались вслед ему голоса нескольких братьев.

— Идите! Бегите прочь! И без вас выстоит монастырь. Илия, прикажи звонить к службе! Я сам сегодня буду служить Литургию!

Илия, ничего не ответив, несколько минут что-то тихо шептал сам себе под нос, перестав обращать внимания на людей вокруг. Наконец он словно очнулся.

— Да как же так? Как такое может быть — другую пустыню нашёл для себя... — осмотрел он внимательно братию.

— Илия, почему ты не слушаешь меня?! — требовательно прикрикнул на него Стефан. — Я всё сердце готов отдать этому месту! — обратился он уже ко всем собравшимся. — Я бросил лучший монастырь в Москве ради подвига духовного тут с вами! Я тоже игумен! Не один год был я игуменом.

Что тебе в моём брате? — он снова повернулся к келарю.

— Боюсь, не поймёшь ты, отче... — келарь, ссутулившись, медленно побрёл к двери.

— Да отчего же не пойму?! — вопрос Стефана повис над почти пустой трапезной. Вслед за Илией ушли большинство иноков.

Позже на дороге в Кинелу четыре брата с котомками догнали неспешно бредущего с мешком Михея.

На следующий день, ближе к вечеру, братья во главе с Михеем нашли отца Сергия.

В пустыне кипела работа, две кельи и сарайчик уже были построены, братья из Махрищской обители помогали ставить частоклад для защиты от диких зверей. Отец Сергий был весь в заботах, готовил кольца для ограды, привычно, мастерски орудуя топором.

— Отче, — упал ему в ноги Михей, — позволь остаться с тобой.

— Михей, — глаза отца Сергия засветились от радости, — как рад я тебе! И вам, братья, — он поклонился каждому, — Иосиф, Пётр, Афанасий, Иаков. Дети мои, это место будет домом для каждого, кто пожелает прийти сюда. Симон, — позвал он своего нового товарища, — помоги братьям расположиться у нас.

Михей в ответ только и смог поцеловать руку игумена, от волнения слова больше не сказав. За ним каждый из пришедших иноков по очереди приложился к натруженной, в мозолях руке отца Сергия.

По ещё не слежавшимся первым снегам, обсыпавшим лес, украсившим голые деревья и вечнозелёные ели и сосны белизной до голубизны, по морозцу, что прихватывает мир до хруста, с провожатым из Махрицкой обители, на двух санях, с тремя товарищами приехал к отцу Сергию любимый его племянник Фёдор.

В тишину зимнего леса опустилась новая пустыня отца Сергия, когда даже комья снега опадают с ветвей бесшумно. Река внизу у пригорка обители спрятала свой лёд под снегом, стала белой полосой сугробов. Нити тропинок от кельи к келье, к сараю, к недавно законченной трапезной и недостроенной церкви не портили чистоту снега, каждый день их освещал новый снегопад. Церковь продолжали строить, несмотря на приход зимы, из брёвен, приготовленных заранее.

Отец Сергий поспешил навстречу племяннику, вышел встречать гостя за ворота частокола.

Фёдор, получив его благословение, поёживаясь от мороза после тёплых саней,

даже не переступив порог пустыни, задал вопрос, который, наверное, долго его мучил:

— Отче, почему ты не пришёл в нашу обитель в Симоново? Неужто ты сомневаешься во мне? Как и обещал, келья для тебя уже давно готова. Колодезь, сработанный тобой осенью, когда ты был у нас, всегда полон воды. Почему же, отче, не позволяешь мне отблагодарить тебя? Не пришёл в нашу обитель, где тебя все так любят.

— Нет, Фёдор, не сомневаюсь я. И теперь часто буду навещать вас, вот только церковь построим и освятим. Монастырь твой только строится, во многом нуждается, а друг мой — махрицкий игумен — может мне помочь без вреда для своей обители.

— Не обижай нас, отче, прими и нашу помощь. Привезли мы с братьями припасов разных, вина, воска. Прими, мы от чистого сердца.

— Не откажемся, нам сейчас каждая мелочь сгодится, — и отец Сергий жестом пригласил племянника войти в ограду пустыни, — пойдём, замёрзнешь с дороги.

— И особые подарки я привёз, — говорил Фёдор уже во время обеда в хорошо протопленной для гостей трапезной, — иконы, сам писал для твоей новой церкви.

— Вот за них особенно благодарю, мало у нас икон... Слава Богу, богата наша земля

добрыми людьми, — помолчав, прибавил отец Сергей, — многие и богатые, и бедные люди приходят к нам сюда на помощь. Князя Серпуховской и Радонежский приезжали. Уже и странники находят нас в этих лесах, снова можем помогать людям. К нам иноки перебираются из других монастырей. Братии уже почти сорок человек. Главное теперь церковь быстрее отстроить. Михей, Онисим с Елисеем, Пересвет, Афанасий, Макарий и ещё многие с Маковицы уже давно здесь живут, повидаяешься потом с ними. Только Илию уговорил не покидать старого монастыря.

— Отче, сказать тебе хочу, — Фёдор посмотрел сурово, почти угрюмо куда-то в угол мимо лица дяди, — знаю, что ты никогда не держишь зла на людей. Только нужно мне сказать это для своей души — прости моего отца. И меня за него прости.

— Что ты, Фёдор...

— Ведь любит тебя, точно знаю — любит! — он заговорил горячо и быстро, боясь, что отец Сергей прервёт его. — Меня совсем ребёнком в твою обитель на воспитание отдал, потому что тебе больше верил, чем себе. Не могу я понять, как он мог так поступить...

— Да и я его люблю, какой я судья брату... Бог рассудит всех, установит порядок, ведомый только Ему. Не печалься ты так. Сделай милость, погости у нас.

— На пару дней останемся мы у тебя, отче. Прости, что дольше не могу, в монастыре дел много.

— Поживи со мной в одной келье, — радушно пригласил племянника отец Сергей.

— Хотим мы с братьями помочь вам церковь ставить.

— Не откажемся. Всем миром её строим. Братья из Махрицкого монастыря, окрестные крестьяне приходят на подмогу, даже Клемент, бывший странник, который живёт теперь рядом с Маковицей, вчера пришёл. На доброе дело наш народ легко собрать вместе. Поставим церковь в похвалу и честь Матери Господа нашего, Её Святого Благовещения. Чтоб на этом месте всегда славилось имя Её.

Леонтий Станята бесшумно открыл дверь в покои митрополита и неслышно подошёл к столу, за которым работал с письмами владыка. Дочитав очередное послание, аккуратно скрутив его снова в свиток, митрополит Алексей выпрямился и оперся спиной о кресло, в котором сидел. Оно напоминало трон, без подлокотников, ярко расписанное, с ажурной высокой спинкой, снизу на искусно вырезанных замысловатых ножках. Наведя порядок на столе, покрытом шитой золотом скатертью, сложив отдельно письма и отодвинув подальше несколько

книг в дорогих окладах, владыка поднял глаза на Леонтия; взгляд его был как всегда изучающим и строгим, отчего казался суровым.

— Разве сейчас время доклада, Леонтий? — нахмурился митрополит.

— Прости владыка, просители к твоей милости, — чуть наклонился в вежливом поклоне Станята, — старцы из монастыря Святой Троицы, что на Маковице, близ Радонежа.

— Из бывшего монастыря Сергия, из твоего, что ли, монастыря, Леонтий?

— Да, владыка.

— Ну, зови, послушаем, что скажут. Зови! — повысил голос митрополит.

Шестеро монахов, впереди келарь Илия и еkkлесиарх Симон, робко вошли в богатые покои митрополита. Владыка молча рассматривал пришедших, они растерянно оглядывали расписные стены, богатое убранство залы, а заметив в арке без двери вдалеке, во внутренней комнате, много икон в драгоценных окладах и аналой с горящей на нём свечой, совсем растерялись, — креститься ли им на далёкие иконы или нет. И поспешили все шестеро склониться перед строгим взглядом владыки, который продолжал хранить молчание.

— Говорите, — шёпотом, но настойчиво подсказал просителям Леонтий.

— Мы прибегаем к милости твоей, владыка, — начал неуверенно, негромко Илия, — только ты можешь помочь нам. Уже три года как покинул обитель нашу на Маковице отец Сергий. В новой пустыне на реке Кержач построил себе новый монастырь. Уходят к нему иноки, совсем опустела наша обитель, скоро не станет её вовсе. Только ты, митрополит, всей христианской Руси отец, можешь вернуть нам игумена и спасти монастырь Святой Троицы. Сколько ни просили мы отца Сергия, не возвращается он на Маковицу.

— Помочь вам? — владыка ухмыльнулся и покачал головой. — Да чем же вам можно помочь? Не сами ли довели до того, что ушёл Сергий? Разве вы хотели его игуменства? Не ваша ли вина — его уход?

— Наша, владыка, не отстояли мы игумена, — монахи склонились ещё ниже.

— Только, — продолжил уже Симон, — не о нас, грешных и убогих, речь. Накажи всю братию, отошли тех, кто не хотел подчиняться отцу Сергию, только помоги спасти обитель. Осиротела она. Ты последняя наша надежда, решением всех братьев посланы мы к тебе.

Старцы опустили на колени.

— Жаль мне вас, безумных, — вздохнув, поднялся с кресла митрополит, встали с колен и старцы. — Но только не буду я нево-

лить Сергия, приказывать ему вернуться. Услышит мой совет — будет у вас снова игуменом, а не захочет — простите, сами виноваты. Так и передайте вашей братии, идите.... Что ты думаешь об этом, Леонтий? — спросил своего помощника владыка после ухода старцев.

— Немало лет подвизался я в монастыре Святой Троицы, — ответил тот. — Что мне сказать? Как будто родной дом разрушен. Нет этой обители без игумена Сергия, так только стены одни. Не должно так оставаться, не во благо это церкви.

— Да, многие годы монастырь на Маковице всю Русь притягивал к себе. Намоленное место. Не дело оставаться Сергию на Кержаче, нужно ему возвращаться. Только неволить его не хочу, могу, если он решит, убрать врагов его из монастыря. Что, Леонтий, а не послать ли нам к Сергию архимандрита Герасима и ...

— Можно архимандрита Павла, он тоже красноречив, — предложил Станяга.

— Добро, Павел для подобного дела сгодится. Позови их ко мне. Завтра же и отправлю их к отцу Сергию на Кержач.

Летним, светлым от обилия солнца днём возвращался игумен Сергий в свою обитель Святой Троицы на Маковице, в Радонежских лесах.

Накануне в обитель пришли несколько иноков с вестью, что отец Сергий уже назначил ученика своего Романа преемником в новом монастыре и завтра наконец собирается вернуться.

С утра братья убирали, прихорашивали церковь, кельи, трапезную и монастырский двор. Двоих послушников послали дежурить на дороге из Кинелы, и когда они, запыхавшиеся, вбежали в монастырские ворота: «Идёт! Идёт!» — вся братия тут же бросилась навстречу игумену.

Не было среди них только Стефана, брата отца Сергия, который накануне с несколькими монахами ушёл в московский Богоявленский монастырь, где был некогда игуменом. Никто не приказывал ему уходить, отец Сергий попросил у архимандритов Герасима и Павла, чтобы не отсылали никого насильно, дескать, если захотят, уйдут сами.

Отец Сергий всё ближе подходил к Маковице, к бывшей своей пустыне, где прошли годы и годы его жизни. Где мёрз он одиноким отшельником в заметённой снегом избушке, молясь под волчий вой; где принял постриг в первой крохотной церквушке, построенной им самим в честь Святой Троицы; где часто голодал с первыми двенадцатью братьями юной обители, где Дух Святой стал нисходить на него во всей своей благодати.

Место это всё же было ему домом, потому что именно здесь мужала его душа. Отец Сергей узнавал каждый поворот дороги, каждое чем-то особенным отмеченное в воспоминаниях дерево на обочине. И вот почти у самых ворот монастыря он увидел братьев, гурьбой спешивших навстречу ему. «Боже, ты нас не оставил! — стали раздаваться голоса вмиг окруживших игумена монахов. — Больше мы не одни! Снова с нами наш отец! Слава Богу!»

Келарь Илия, которого в жизни никто не видел плачущим, всхлипывал, как ребёнок.

— Дождались! Слава Богу, ты вернулся, отче! Я думал, и умру тут без тебя!

Отец Сергей расцеловался с плачущим Илией. Братья по одному склонялись к руке игумена, он узнавал каждого, называл по имени, целовал, счастливо при этом улыбаясь.

— Дети мои, рад я снова быть с вами.

Поздним вечером, когда игумен наконец остался в келье один, молился о монастыре и об иноках как о детях своих, в волоконное оконце стал пробиваться ярчайший белый свет. Откуда такой мог взяться в ночи?

Услышав голос: «Сергий! Сергей!» — отец Сергей открыл окошко.

Из ночного неба, рассеяв чёрную мглу, пучок яркого света озарил, как днём, всю обитель, выделив её ярким кругом, вплоть до ограды. В сияющем луче парили белые диковинные птицы, звучали чудесные их голоса, дивной красоты песня опускалась с неба на землю.

— Сергей! — вновь позвал небесный голос. — Ты видишь птиц? Господь принял молитву о детях твоих духовных. Их будет много, как этих птиц. После тебя не оскудеют они в месте этом. Будут они прекрасны, украшены разными добродетелями, если только захотят следовать стопам твоим!

Эпилог

Владыка Алексей слабел с каждым днём. Когда стало понятно, что жить ему осталось недолго, он приказал позвать к себе Сергия Радонежского, игумена Троицкой обители.

Возмужавший с годами Леонтий Станята, в котором и не узнать было юного инока, покинувшего монастырь на Маковице, хоть давно был в уважаемом сане, лично проводил своего бывшего наставника отца Сергия, уже глубокого старца, с побелевшими от седины волосами, в покои митрополита Алексея.

— Совсем не остаётся свободного времени, с тех пор как принял я сан епископа. — Станята устало вздохнул, осмотрев кабинет и стол митрополита, заваленный посланиями. — Дел много, а владыка болен, да что там — совсем плох, не встаёт с постели, а дела-то у нас не приведи Господи. С новым ханом не сговоришься. Слушать нас не желает. Хотят татары с церкви дань брать. И не вспоминают, что прежде не трогали церкви да монастыри. Только владыку Алексея побаиваются. Чародеем его считают, помнят, как по молитвам владыки вернулось зрение к покойной ханше Тайдуле... Скучаю я о монастыре нашем, тянет меня в Радонежские леса, как человека в родной дом.

— Мы будем рады, если найдёшь время погостить у нас, — радушно пригласил его отец Сергей. — Монастырь Святой Троицы — наш общий дом. Нередко старцы вспоминают тебя, и я молюсь как о сыне духовном. Знаю, что ноша епископского сана нелегка, только у каждого своё служение. Терпи, Леонтий, в терпении мужает душа.

— Тут мне недавно рассказывали, отче... Я уж не знаю, верить ли? Будто, брат твой старший Стефан снова вернулся в монастырь к вам на Маковицу. Неужто правду мне сказали?

— Да. Правда. У нас теперь живёт Стефан.

— Как же так? Как он посмел? После всего... — у Станяты от возмущения не хватило слов.

— Вернулся. Мы с радостью приняли его. Каких грешников великих прощает наш Господь, каждого «блудного сына» ждёт. И мы, как сыновья Его, должны ближнего прощать. Трудную жизнь прожил мой брат, многих людей оттолкнул от себя, теперь совсем один остался. Моя обязанность помочь ему на старости лет. Болен он очень.

— Как всегда прав ты, отче. Конечно, Стефан теперь, должно быть, совсем постарел, он почти ровесник нашему митрополиту, — в смущении опустил глаза Станята. — Не верится, что больше десяти лет прошло, как покинул я монастырь, всё кажется, вернуться... Благослови меня, батюшка, как в прежние времена, — склонил он голову.

— Благословляю тебя, сын мой, — перекрестил его отец Сергей. — Пусть во всех делах пребудет с тобою Господь.

Станята поцеловал благословившую его руку, потом выпрямился и поправил облачение. Затем вновь вернулся к деловому разговору.

— Как говорил я, отче, с лета болеет владыка Алексей. Боимся, недолго ему осталось быть с нами. Редко встаёт с постели,

ослабел совсем. А тут приказал позвать тебя. С утра поднялся, ждёт с нетерпением. Мне ничего не говорил, уж не знаю, что и думать. Здесь подожди, отче, я в спальню к нему схожу.

Через несколько минут Станята медленно ввёл под руку митрополита Алексея, которому с трудом давался каждый шаг, и помог ему сесть в кресло. Отдышавшись, митрополит обратился к гостю.

— Рад тебя видеть, Сергей.

Благословив преклонившего колени радонежского игумена, митрополит приказал Леонтию:

— Принеси золотой крест из моих покоев.

Тот быстро ушёл и тут же возвратился, неся в руках усыпанный драгоценными камнями золотой крест на золотой массивной цепи. Крест он торжественно, с поклоном передал владыке. Митрополит, пересилив слабость, встал.

— Подойди поближе, Сергей... Этот крест теперь твой, — митрополит бережно повесил подарок на шею радонежского игумена. — Иди, Леонтий, оставь нас одних, — приказал он помощнику.

Тот сразу удалился.

— С юности не носил я золота, — немного растерялся отец Сергей от такого щедрого дара, — зачем в старости оно мне...

— Прояви послушание, игумен, — настаивал на своём владыка, — прими сей крест. Знаешь ли, почему я позвал тебя?

— Нет, владыка, откуда мне знать.

— Стар я стал, Сергей, — митрополит, у которого разговор отнимал много сил, медленно опустился в кресло, — скоро покину вас. Болит моя душа в заботе о Руси, кому оставить народ христианский, кто станет пастырем ему после меня. Когда-то митрополит Феогност перед смертью передал мне ношу свою. Теперь я хочу сделать то же. Немедленно примешь ты сан епископа, а по смерти моей быть тебе митрополитом!

— Нет, владыка, — отец Сергей покачал головой, — кто я такой, грешный, чтобы взять на себя это бремя.

— Ты единственный, кого захотят видеть митрополитом все: великий князь, бояре и весь христианский народ. Монастырь твой стремится посетить всякий. Ученики твои по всей земле русской обители ставят. Сколько уже, к двум десяткам число таких монастырей приближается?

— Так, владыка.

— Селились в пустынях, а теперь вокруг города растут. За советом и помощью приходят к тебе ученики, новые игумены?

— Так, владыка, они дети мои, как не помочь. И сам хожу в их монастыри и рад, когда навещают меня.

— Сколько раз мирил ты князей, по моему приказу?

— Да разве упомнишь, сколько, — пожал плечами отец Сергей.

— Потому что много раз. Уважают тебя князья. Народ любит. Скажи теперь: кто должен быть наследником моим, как не ты?

— Нет, владыка, не неволь, не моё это служение.

— Сергей, ты должен повиноваться. Это для тебя место — престол митрополита. Рядом с тобой люди становятся свободными от страха, будто и нет над нами татар. Свобода, данная Господом нашим, в тебе так сильна, что передаётся другим.

— Бог делает нас свободными, — поднял глаза к небу радонежский игумен.

— Оно так, только людей нужно привести к Богу, — митрополит с трудом снова поднялся. — Неужели посмеешь послушать меня, Сергей? Редко я тебе что-либо приказывал, всегда только просил, но сейчас не отступлю — подчинись!

— Прости. Велико твоё служение Господу. Ты — владыка. После чуда исцеления ханши Тайдулы тебя почитают даже татары, князья боятся, слушает великий князь. Сильна власть твоя, владыка, крепкой рукой управляешь нами. Во мне же нет того, что ищешь. Не по силам бремя, выше моей меры, — отец Сергей снял с шеи золотой крест и положил

его на стол. — Если не хочешь изгнать мою нищету от своего величия, позволь мне остаться тем, кто я есть — игуменом Сергием с Маковицы в Радонежских лесах, из монастыря Святой Троицы.

— Значит, если буду неволить тебя, вновь скроешься в лесах? — митрополит тяжело опустил, почти упал назад в кресло.

— Прости, владыка, любую ношу возложи, приму без ропота. Только у каждого человека свой путь, свои мера и служение.

— И никак не уговорить мне тебя, Сергей? Не найти наследника лучше, но как силой такое решить... — митрополит, взяв золотой крест со стола, долго рассматривал его, потёр пальцами драгоценные камни и, тяжело вздохнув, снова положил крест на стол.

— Не печалься и не сомневайся, служение своё перед народом христианским, от великого князя до последнего человека, исполню, как и перед тем, кто наследует твой престол, как и перед самим Господом нашим, — отец Сергей преклонил колени.

— Как ни горько мне признать, но, наверное, ты прав. Нельзя Божий дар сменить по своему произволу. Иди с Богом. Возвращайся в свой монастырь. Но помни, что обещал мне сегодня.

Ответ: «Да, владыка» — прилетел в покои митрополита уже издалека, из соседних комнат, едва различимые слова, слившиеся с шумом быстро удалявшихся шагов.

Ангельский чин

Москва.
Лето 1402 года.

Пожар! Горим! — голос невидимого в темноте человека зазвонел во мраке ночи. — Пожар!! Пожар!!!

Разбуженные этим криком люди в полудрёме, не понимая до конца происходящего, выбегали на улицу и застывали, скованные ужасом, — пожар разрастался на глазах. Очнувшись, они в панике бросались спасать свои пожитки, но огонь не оставлял им времени, можно было сохранить только собственную жизнь.

Ряд чёрных в ночи изб подсвечивало удивительной мощи багровое сияние — горела соседняя улица. Над крышами домов изредка поднимались под-

гоняемые ветром языки пламени, вырывавшиеся жёлтыми волнами из красного зарева. Они лизали ещё не тронутые огнём крыши, оставляя на их брёвнах свои частицы, искры, — высушенное летними суховеями дерево начинало тлеть. Сначала взвивался лёгкий дымок, потом на глазах обескураженных людей в мгновение разгоралось пламя.

Каждый бросок языков огня отзывался криком ужаса людей, теряющих всё нажитое. Пожар разрастался быстро, отдельные костры на крышах сливались в единое пламя, жёлтой короной взлетающее ввысь, пульсирующее в клубах чёрного дыма.

Убитые горем, испуганные люди отступали к противоположной стороне улицы. Они пятились, завороченно глядя на погибающую в пламени свою привычную жизнь. Избы превращались в гигантские костры, трещали горевшие брёвна, из оконных проёмов с шумом вырывалось неужённое пламя. Теперь внутри домов жил только огонь, золотой, жаркий, плотный, словно не сам он там поселился, а кто-то всемогущий наполнил им бревенчатые срубы, в которых мгновение назад жили люди. Под вой женщин и визг испуганных детей с грохотом стали рушиться прогоревшие крыши.

Между двумя пылающими избами, опустив голову, стояла коза. Она почему-то никуда не убегала. Люди, занятые собствен-

ным горем, не обращали на неё внимания, никто не попытался её спасти. Пламя бушевало с двух сторон от смирившегося со своей участью животного.

Пожар в полной силе огня, дыма и жара и не думал останавливаться, удовлетворившись уничтоженной половиной улицы, он наступал дальше: через дорогу с треском полетели блестящие в ночи, как светлячки, горящие угли, поджигая избы напротив. Сильный жар и удушающий дым с трудом терпели люди, упорно не хотевшие уходить.

— Нет, нет, за что?! — билась в истерике босая женщина в одной рубашке, с растрёпанными сбившимися космами волос, оплакивая недавно отстроенную избу. — Всё, всё сгорело, люди добрые! — кричала она успокаивающим её соседкам, словно окружающие не стали такими же погорельцами, как и она сама.

Несколько мужчин начали таскать воду из колодца, пытаясь бороться с летающими углями, но силы были неравны, загоралось быстрее, чем приносили очередное ведро.

Наконец люди стали уходить прочь. Многие не представляли, как им теперь быть. Несли какие-то спасённые случайные вещи, часто совсем не ценные, первое, что попало под руку. Босая женщина прижимала к

себе старое сито. Уходить было нужно, занималась вторая половина улицы. Исчезла в пламени смиренная коза. Вдоль дороги потянулись огнём к небу превратившиеся в свечи деревья. Даже сама земля то ли паровала, то ли дымилась.

— Пожар! — понеслось по Москве. — Горит за торгом!

Уже разбужены Кремль и Заречье.

Люди с факелами по одному и группами побежали со всех концов города на пожар, чтобы помочь несчастным погорельцам спасти хоть что-нибудь из имущества и остановить огонь любой ценой.

Горим! Страшное известие для деревянного, не раз выгоравшего дотла города. Стена огня, перекачиваясь от улицы к улице, двигалась к реке, оставляя после себя только обугленные уродливые ряды печей и недогоревших брёвен, в дикой прихоти торчащих чёрными обрубками из тлеющих куч углей и пепла.

Афанасий с товарищами, прихватив пару факелов, бежали с толпой разбуженных среди ночи людей из Кремля, через Фроловские ворота, через торг и сонный город. С холма среди черноты безлунной ночи пожар мог показаться завораживающе прекрасным, если бы не горе, которое он принёс в город.

Бушующее вдалеке пламя, как живая полоса из приблизившихся звёзд, переливалось всеми оттенками жёлтого и красного. Это была неподвластная человеку безудержная, грозная стихия, от вида которой у Афанасия перехватило дух.

Ближе к пожару стали встречаться погорельцы — полураздетые, с закопчёнными лицами и безумными от неожиданно свалившегося несчастья глазами. На руках у взрослых плакали испуганные дети. Убитые горем плелись, едва переставляя ноги, старики. Всё сильнее становился тяжёлый запах от гари бушующего пожара.

Ряды недавно сгоревших домов ещё дымились, поблёскивая в ночи пышущими жаром углями. Спешившая на пожар толпа увеличивалась на глазах. Впереди приближалась уносимая ветром к реке полоса летящего огня.

Безжалостное пламя, трепыхаясь в порывах ветра, на глазах съедало деревянный город.

Люди по околице обошли гигантский костёр из полыхающих улиц и, повернув у реки, направились навстречу пожару. Но было уже поздно что-то делать, догорали крайние у пристани дома. У Афанасия похолодело сердце, когда он увидел последнее горящее здание — небольшую бревенчатую церквушку, прихожанами которой,

наверное, и были все несчастные погорельцы.

Горела крыша храма, огонь забрался по деревянным чешуйкам небольшой луковичы к кресту. Тот запылал, вспыхнув мгновенно, как спичка. Иссушенное знойным летним солнцем дерево совсем не могло сопротивляться — крест в секунду превратился в факел.

Афанасий не сразу почувствовал, что по щекам его катятся слёзы.

При виде горящего креста всех людей вокруг охватил страх. Бабы запричитали. Взрослые люди плакали, как дети, крестясь и становясь на колени перед пылающей церковью.

Всеобщий крик перекрыл шум гудящего пламени и грохот падающих брёвен, когда рухнула крыша храма. Пылающий крест вслед за прогоревшей крышей исчез в свирепом огне.

Долгий крик испуганной толпы перешёл в молчание. Церковь догорала. Дом, в котором жил Бог, куда на общую молитву собирались все окрестности, перестал существовать. Не сговариваясь, стоявшие вокруг погибающей святыни люди начали молиться, осеняя себя крестным знаменем.

— За грехи наши, за наши тяжкие грехи, — тряс головой закопчённый дымом тощий, лысый старик.

— А иконы спасли? — спросил у него Афанасий.

— Не все... — глаза старика наполнились слезами. — Даже иконостас не весь сняли... До последнего мужики выносили из огня образа, — махнул он головой вправо.

Там Афанасий увидел в руках у людей иконы и церковную утварь. Несколько икон были обуглены по краям. Девочка-подросток с такой нежностью прижимала к себе небольшой образ Богородицы с крохотным Спасителем на коленях, что Афанасию почудилось — юная девушка сама держит на руках младенца.

Ближе всех к погибающей церкви стоял священник. Лица его было не рассмотреть. Батюшка сгорбился в низком поклоне, безвольно повисли вдоль тела руки, волосы опустились на лицо, судорожно подёргивались плечи — он, не сдерживаясь, плакал.

Афанасий почувствовал острую сердечную боль, словно он сам писал каждую из сгинувших в огне икон. Это была боль от потери откровения, которое испытали когда-то неведомые ему мастера, увековечившие данную им радость красками. В эти минуты иконы исчезали навсегда. Огненный мир уничтожил в каждом образе частицу Света.

В бесконечной тоске наступил мрак — догорела церковь, стало совсем темно. Ког-

да начало всходить солнце, серое небо подсветило страшную картину пожарища: сгоревшая церковь, за ней чёрные кострища уничтоженной части города.

— Пойдём, пора, — Семён, товарищ Афанасия по дружине, тронул его за плечо, — наши уже ушли, поспать нужно перед работой. Тут уж ничем не поможешь...

Несколько часов спустя Афанасий проснулся в просторной келье Чудова монастыря в Кремле, где уже неделю жил с дружиной иконописцев, творящих образа и украшающих книги по заказу игумена для монастырской читальни.

Кроме Афанасия, в келье ещё оставались по-прежнему спавшие мальчишки-подмастерья, всю ночь глазевшие на пожар. Съев кусок хлеба, один из десятка оставленных на столе под полотенцем, и запив его водой, Афанасий пошёл к остальным мастерам; для работы дружине выделили две большие комнаты.

У длинного белокаменного здания читальни собралась толпа зевак из паломников-крестьян, среди них стояли и несколько монахов. Все они зачарованно смотрели на Феофана, старшего из мастеров-иконописцев, возвышавшегося над добровольными зрителями внушительной двухметровой фи-

гурой. Феофан всегда привлекал к себе особое внимание. Может, был тому виной не только рост, но и карие огненные глаза, и спускающиеся на плечи густые волнистые, чёрные до синевы волосы, с которыми не справлялась ни одна бечева и которые сливались с пушистой окладистой бородой. К тому же Феофан не любил работать в одиночестве, его южный, бьющий через край греческий темперамент требовал зрителей, ему нужно было видеть живое участие, мгновенную реакцию людей, для которых он писал свои иконы.

Доска для иконы стояла на лавке, приклонённая к стене, рядом теснились стаканы и небольшие кувшинчики с красками, кисти, угольки, тряпки. Заготовка для иконы из трёх скрепленных досок, после обработки её специальной грунтовкой-левкасом отшлифованная подмастерьями, поверхностью своей была похожа на мрамор, такая же зеркальная, как обработанный белый камень.

Феофан поглаживал поверхность доски, на которой собирался писать, вдохновенно продолжая, должно быть, давно начатую лекцию. Афанасий остановился за спинами внимательных слушателей мастера.

— ... только душа праведная. Необходимо очищение перед таинством создания иконы, пост и всяческое воздержание, — Фео-

фан сурово осмотрел внимавших ему людей. — И без молитвы никак нельзя!

Он начал с воодушевлением читать «Отче наш», окружающие негромко повторяли за ним слова.

Закончив молитву, Феофан перекрестился.

— С Богом! — мастер решительно взял в руки уголёк.

Тут, заметив за спинами зевак Афанасия, не изменив наисерьёзнейшего выражения лица, он едва заметно подмигнул ему; в ответ Афанасий поздоровался с ним поклоном.

Толпа застыла, когда Феофан точными быстрыми движениями стал наносить чёрные штрихи на белоснежную поверхность. В центре верхней части доски вместо чёрных полосок вдруг в один миг люди увидели фигуру Христа. Все ахнули от удивления, а молодой крестьянин, всё время старавшийся подойти поближе к мастеру, чтобы ничего не пропустить, даже вскрикнул:

— Ух ты!

Иконописец отступил от рисунка на несколько шагов, прищурившись, всмотрелся в него, быстро вернулся назад и наметил три луча, идущие вниз от ног Иисуса. Не останавливаясь, он на конце каждого луча изобразил по человеку. Первый лежал на спине, в ужасе закрыв лицо руками, второй прильнул к земле животом, опираясь на пра-

вую руку, левой также заслонил глаза. Последний, ослеплённый, вскинув в ужасе руки, пытался на коленях убежать от направленного на него луча.

— Знаете ли вы то, что сейчас на ваших глазах я пишу?! — почти на крик перешёл Феофан.

— Да, — покивал головой один из монахов. — Преображение Господне.

— Так, брат, правильно! Когда просияло лицо Господа, и одежды Его стали белыми, как свет, а Отец назвал Его «Сыном Своим возлюбленным». Ученики же не выдержали небесного сияния, испугались — пали ниц!

Мастер подправил несколькими штрихами фигуры апостолов и нарисовал вокруг них с десятков кустов травы.

— А беседовал Господь с двумя великими пророками. Какими? — спросил он неожиданно быстро у ранее отвечавшего ему монаха.

— С Илией и Моисеем, — не растерялся тот.

— Молодец! — радостно улыбнулся Феофан, похвалив знания инока.

И тут же нарисовал с двух сторон от Спасителя склонившихся в поклоне Моисея и Илию, чем вызвал у зрителей ещё один всплеск бурного восторга. Секунду подумав, он дорисовал в руках у Моисея дощечки-скрижали.

Когда Феофан начал рассказ об исходе евреев из Египта, Афанасий заторопился в читальню; давно нужно было начинать работу.

В большой комнате стояла тишина вдохновения. Склонившись над иконами, работали мастера: Семён и два молодых друга-приятеля, Никита с Борисом. Семён уже заканчивал «Благовещение», он всегда быстро работал. Последние мазки ложились на малиновый плащ Богородицы. Непорочная Дева склонила голову, принимая волю Божью, которую принёс ей крылатый ангел, протянувший к ней руку в благословении.

Афанасий присоединился к Фролу, белому от седины старцу из новгородских мастеров; тот готовил рисунки на пергаментях для Евангелия, которое здесь же, за столом у окна, заканчивал переписывать один из иноков монастыря.

Взяв в руки кисточку, Афанасий всмотрелся в чистый лист, лежащий перед ним, но не смог начать работу. Ночной пожар ещё продолжал пылать в его воображении. Исчезнувший в пламени рухнувшего храма беззащитный крест, горящие улицы, закопчённые лица плачущих людей — картина одна печальнее другой возникали в памяти сами собой. Они проносились в мыслях, сохранив реальность жизни, запомнившись до

малейших деталей. Подкралась грустные раздумья о погорельцах: что сегодня происходит с ними, где сейчас все эти люди, какая судьба их ждёт? Едкая гарь, которой ещё пахли его одежда и волосы, казалось, пропитывала всплывавшие в памяти кошмары.

Печальные мысли рождали друг друга, наслаивались, умножались, пока наконец не слились в одно целое, в тяжесть, что легла на душу. Горе-горькое, что существовало рядом, без воли Афанасия перестало быть чужим, заняло все его мысли. Уничтоженные огнём улицы и бедствующие люди из далёких и незнакомых стали близкими до боли, так что у него на глаза навернулись слёзы, словно и его дом сгорел ночью, словно он, бездомный, беззащитный погорелец, остался один на один с миром, и нет ему больше ни защиты, ни пощады. Никогда больше погорельцам не собираться в церкви, знакомой с детства, в пасхальное утро не целоваться с соседями. Похолодела душа, зачем отлучены люди от привычной жизни, выброшены прочь, лишены уверенности, покоя, пусть зыбкого, но прекрасного ежедневного мира с собой.

И на пике чужой боли, ставшей своей, рука с кистью тронула пергамент, пошла по нему уверенными мастерскими мазками. Из красок возник образ: архангел Михаил полетел как вестник абсолютного добра, по-

беждающего зло. Он весь был добро и свет, нежный, вечно юный, прекрасный. Рядом с ним любое зло теряло силу, не имело больше смысла. Тьма теряла власть, её придуманную, никчемную сложность убивал чистый свет архангела. Соблазнительная сложность оказывалась на поверку пустотой.

Архангел летел по своим вечным делам — утешать, оберегать и сеять радость. Когда Афанасий положил последний мазок на плащ архангела Михаила, его собственную печаль, след ночного пожара, унёс пролетающий ангел.

— Отличный вышел рисунок, удивительно светлый, — неожиданно для Афанасия прозвучал голос Семёна, который, склонившись, рассматривал ангела.

— Устал я немного, давай пойдём к реке, — предложил ему Афанасий.

Друзья, выйдя из монастыря, прошли через ворота Кремля, потом через плотный поток людей на торгу, местами с трудом преодолевая беспорядочное движение шумной, пёстрой толпы.

У реки они сели на траву, иссушенную прошедшим летом и пощипанную утками и гусями. Птицы и сейчас прохаживались вдоль берега, освежившись в воде, бродили по лугу, внимательно разглядывая траву, время от времени пощипывая понравившиеся сте-

бельки. По реке к пристаням спешили лодки с товаром, их уже ожидали нетерпеливые торговцы, продолжавшие на причалах сутолоку столичного торгова.

Разговаривать не хотелось, мир и так слишком беспокоил душу своей суетой. Издалека к реке прилетали человеческие голоса, какие-то непонятного происхождения стуки и скрежет, лай озлобившейся на кого-то собаки. И только ветерок у воды развевал, успокаивал бессмысленные неумолимые звуки.

Прошло немало времени, прежде чем звуки перестали тревожить, словно отступили подальше, предоставив место созерцанию солнечной картины из голубизны неба и раздольного вида Заречья на другом берегу реки.

— Покойно как, — вздохнул Афанасий, — после жары прохлада как елей.

Семён кивнул.

— Хорошо.

— Я хотел тебя одну вещь спросить, только мне выразить её трудно. — Афанасий лёг на бок поудобнее, поставив руку на локоть, положил голову на ладонь, — ты старше меня, опытней...

Повисла долгая пауза. Беленькая уточка подошла поближе к людям, с любопытством рассмотрела их, подождала, не дадут ли ей какого-нибудь угощения, и, разочарованная, ушла дальше щипать траву.

Наконец Афанасий собрался с мыслями.

— Пожар меня мучает, не уходит из головы. Вижу его так, что написать смогу. Каждую мелочь помню. Кружится, повторяется он во мне, не могу остановить видения. Оттого и боль, что испытал вчера, когда рухнул крест, снова и снова переживаю. Так и падает он во мне, вслед рухнувшей церкви. И люди плакали, и дети кричали... А как священник рыдал, храм свой потерял...

— Ну, что ж сделаешь, — похлопал друга по плечу Семён, — нельзя, конечно, привыкнуть к этому, только так придётся нам всю жизнь «платить за талант».

— Ты думаешь, это плата?

— Да, цена. Нелёгкая ноша. Мы видим и помним, так нужно, чтоб передать острее другим. Не можем мы выбирать, что помнить, а что — нет. А иное забыть — счастье.

— Я помню, как умирали родители и братья с сёстрами. В детстве было, а для меня как будто случилось вчера. Боль почти ушла, но память цепко держит малейшие детали. — Афанасий сел, повернулся лицом к реке, запрокинул голову назад, подставив лицо солнцу и ветру.

— Да, я тоже своих часто вспоминаю. Твои ведь почти вместе с моими... Мор... А у меня уж и дети были...

— Ты мне никогда не говорил о детях.

На мостках на другом берегу реки две маленькие женские фигурки начали полоскать бельё, размахивая над водой белыми полотнами тканей. К вечеру город затихал, шум его совсем перестал тревожить собеседников.

— Почему память часто берёт верх над людьми? Наверное, мир так наступает на человека. Вытесняет покой из его души, — Афанасий лёг на спину, разглядывая небо.

— Может быть, самое трудное бороться с отражением мира в своей душе. Что, в сущности, может ранить человека так долго и так больно, как его собственные мысли? Ничего! — ответил Семён сам себе и тоже лёг на спину, разглядывая летящие облака.

Повернувшись на бок, Афанасий посмотрел на друга.

— Ангел у меня всё равно получился светлый. Прилетел на помощь. Вся темень вчерашнего ужаса, гарь, адский зной исчезают во мне с наступлением его света. Этот свет кажется мне реальней, чем память о пожаре. Написал его, и он возвращается ко мне, очищает, врачует.

— Твой ангел хорош.

— Нет, лучше, он для меня существует в образе. Посмотри, как чудесен сегодня закат. — Афанасий сел и осмотрел окрестный пейзаж. — Божий мир прекрасен, словно за

каждым кустом и травинкой светлые ангелы. Я больше не хочу делить его и себя на половины. Не могу писать, разрываясь душой...

— О чем ты?

— Боль нельзя победить болью. Чем лечится мир? Когда потерял родных, когда бедствовал, никогда не думал о монастыре как об убежище. Теперь же мне там место. Я хочу принять постриг.

— Неожиданно как-то! Давно решил? Но почему? Ты сейчас и так один из лучших иконописцев на Руси. Не сомневайся, свет в твоих иконах люди видят! — Семён быстро осмотрел реку и луг с птицами. — Отказаться от мира? Я тоже об этом думал, и не раз. Меня уж точно здесь ничего не держит. Жалеть нечего. Были жена и дети, была молодость. Что ж теперь? А вот ты молодец. Смотри, не ошибись. Вдруг потом пожалеешь?

— Ты добр к людям, лучше других меня поймёшь, — ласковая, нежная улыбка засияла на лице Афанасия. — Не отказываюсь я от мира, он и так весь во мне. Только не могу испытывать ненависти, до боли не могу, от неё отказаться и хочу, чтоб жить только в Божьей любви. А насчёт молодости — мне уже тридцать лет.

— Иногда я тебе завидую, — вздохнул Семён, — никто из наших иконописцев даже улыбаться, как ты, не умеет. То лукавство, то

хитринка в их смехе остаются, а у тебя одна тёплая радость.

— Ну вот, захвалил ты меня, — рассмеялся Афанасий.

— И всё же обещаю тебе не спешить, подумай как следует. Да и обитель обители рознь.

— Нравится мне монастырь ученика преподобного Сергия Радонежского — старца Андроника. Москва рядом, да и своя дружина иконописцев там есть.

— Подумай, хорошо подумай! Боязно мне за тебя. Не спеши! Страшно в таком ошибиться... И что скажет Феофан?

Вечер совсем созрел, покраснело небо в редких облаках. Круглое солнце стало бордовым, на него можно было смотреть без боли в глазах. Ветер совсем утих. Расслабившись, природа обласкала двух друзей нежными запахами уходящего лета. Оказалось, что пахнет подсыхающая трава — немного свежестью, немного сеном, и даже редкие скромные увядающие цветы не до конца растеряли свой аромат. Над водой пополз дымкой туман. На небе, которое собралось покинуть солнце, появилась первая звезда.

— А есть-то хочется, засиделись мы, — Афанасий поёжился от наступающей прохлады.

— Не опоздать бы к трапезе, — заторопился Семён.

Друзья быстро направились к Кремлю, их провожали пением-стрекотанием проснувшиеся на лугу сверчки, первые вестники наступающей ночи.

К трапезе они всё же опоздали. Ужин был уже в полном разгаре, когда Афанасий с Семёном заняли свои места в конце братского стола рядом с другими иконописцами. В ожидавших их мисках каша почти остыла. В трапезной было тихо, монахи привычно ели молча. Нарушал тишину только Феофан, он не умел долго молчать.

— Семён, чего опоздали?

Семён, не ответив, пожал плечами.

— Ладно, только каша уже совсем остыла, — сам Феофан уже давно съел ужин и теперь рассматривал свою дружину: пять мастеров и трёх подмастерьев. — Работы ваши я посмотрел, — обратился он к Семёну и Афанасию. Благовещение готово?

— Да, — ответил Семён, постаравшись быстрее проглотить кашу, — немного осталось.

— Подмастерья завтра помогут тебе, — распорядился Феофан, мельком взглянув на двух подростков, которые опустили ложки, внимательно глядя на старшего мастера, но тот сразу переключился на новую тему. — Сколько мне пришлось земель исходить:

Царьград, Кафа, Галата... В разных дружинах работал, много повидал старых икон. Может, снова двинусь в дорогу. Опыт питает мастера. Учимся у других, учимся у Божьего мира. Сколько красок буйных у юга, яркость зелени и цветов, море и небо там аж синие. Там нет ваших долгих зим и изнуряющего холода, там природа ласкова с человеком, — он улыбался, задумавшись о чём-то своём.

— Значит, там нет света и белизны нашего снега, и полутонов мало, — тихо сказал Афанасий.

— Мало? — очнулся Феофан. — Не знаю, не думал. А ты пойдёшь со мной, Афанасий? Есть что-то в написанном тобой сегодня ангеле такое, что растревожило меня. Тебе нужно поехать в Царьград, посмотреть его храмы, поработать в тамошних дружинах. Пусть не сейчас идти, всё бросив, но подумай хорошо — сколько земель откроется перед тобой, сколько новых впечатлений. Для нас, иконописцев, это пища! Может, и не писал бы я так, если бы не странствия мои. Они многому меня научили.

— Здорово повидать разные страны, — не выдержал один из подмастерьев, — я всю жизнь странствовать готов, — мечтательно вздохнул мальчишка.

Афанасий улыбнулся, посмотрев на мальчишка, но ничего не ответил Феофану. Зато

старый мастер Фрол не смолчал, пожал плечами.

— Я всю жизнь на Руси. Хоть монгол жёт и мор случался, никогда не хотел уйти.

— Ну что, пошёл бы ты со мной, Афанасий? — настойчиво, повысив голос, повторил свой вопрос Феофан.

— У меня другой путь, — ответил тот, продолжая спокойно доедать кашу.

— Другой?! — Феофан никак не ожидал отказа. Его благодушное настроение вмиг исчезло, уступив место нешуточному раздражению. — Что значит — другой?! — он заговорил так громко, что монахи застыли с ложками в руках, прислушиваясь к разгоравшемуся спору.

— Прости, я совсем не хотел тебя обидеть, — извинился Афанасий.

— Нет, не увиливай! Говори прямо, при всей дружине: это какой-такой путь ты считаешь для себя лучшим? Лучше того, что я тебе предложил? Что плохого в том, что можно увидеть работы старых мастеров? Что можно учиться у разных школ иконописцев?

— Конечно, ты прав. Я всегда готов учиться у других.

— Вот и призываю тебя к этому. Объясни, что за другой путь у тебя?

Феофан перешёл на крик, дружинники, знающие его крутой нрав, забеспокоились,

но даже старый Фрол, часто усмирявший гнев огненного грека, сейчас не решился вмешаться.

— Говори! — крик усилил удар кулаком по столу.

— Послушание. Хочу принять постриг, в монастырь я ухожу, — произнесённый тихим голосом ответ изумил иконописцев.

Повисла долгая тревожная пауза. Монахи вокруг, увидев, что шум утих, снова занялись ужином. Мастера же и подмастерья настороженно разглядывали то лишившегося дара речи Феофана, то неторопливо черпавшего ложкой кашу Афанасия.

Наконец Феофан заговорил.

— Я старший в дружине. Наша работа здесь ещё не окончена, потому позже об этом поговорим.

— Что должен — сделаю, — кивнул Афанасий.

— И разговор этот мы продолжим! — многозначительно и строго сказал старший мастер, осмотрев дружину. Он решительно отодвинул от себя пустую миску, встал из-за стола и быстро вышел вон из трапезной.

— Ну, ты даёшь! — удивлённо уставился на Афанасия младший из мастеров, кудрявый красавчик Никита. — Не ожидал я от тебя...

— Даже не знаешь, что и сказать... — перебил Никиту его друг, шустрый мужичок

Борис. — Только Феофан тебя так просто не отпустит. Задел ты его за живое.

Когда иконописцы вышли из трапезной после ужина, вечер уже сменила тихая ясная ночь. Было бы совсем темно, если бы не освещал двор жёлтый месяц с тысячами звёзд. Фрол с Афанасием немного отстали от остальной дружины. Старый мастер придерживал Афанасия за рукав.

— погоди. Я всегда хотел понять, как это люди в монастырь решаются уйти. Не из гордости ведь это? Не из слабости? У меня вот семья хорошая, дети. Только не в этом дело. Жизнь моя прошла, думаю, достойно. Но вот вопрос: смог бы я когда-то раньше, в молодости, бросить всё и отдать себя Богу? Не знаю...

— Тебе ли сомневаться в себе? — удивился Афанасий. — Не припомню, чтоб кого уважали в дружинах так, как тебя. Даже Феофан к твоему слову прислушивается. А для нас ты как отец.

— Да не о том я... Могла ли меня привести судьба в монастырь? Вдруг ошибся в молодости? Нужно было твёрдость проявить, душу свою понять. Ты вот сказал: «Приму постриг» — а у меня всё внутри заныло, словно в чём-то укоряю себя. Слово пропустил главное в своей жизни. Может, испугался? Понимаю, что ответа на этот вопрос не найду, но мучает он меня.

Иконы пишу, а достоин ли этого дара? Как знать?

— По моему разумению, хороший ты человек, — покачал головой Афанасий. — Каждый ли на старости лет может сказать о себе такое? Значит, всё в твоей судьбе правильно сложилось.

— Дай Бог, если так. Всё равно, наверное, завидую я тебе. Прошу, никого не слушай, если отговаривать будут. Уходи поскорее.

В келье иконописцы спать укладывались долго, не прекращались разговоры, нашлись какие-то дела по хозяйству. У Фрола лопнуло терпение, он цыкнул на всех, чтоб угомонились. Каждый, казалось, только и ждал команды лечь. Стоило затушить лучины, сонная тишина сразу наполнилась детским сопением и мужским храпом. Только Феофана никто вечером так и не увидел, не оказалось его на лавке и утром, он успел уйти до пробуждения своей дружины.

С раннего утра в читальне в оберегающей вдохновении тишине иконописцы продолжили свою работу. Афанасий подправил несколькими штрихами вчерашний рисунок — летящего ангела. Пролетающий ангел казался завершённым, но до боли было жаль расставаться с ним, положив в стопку готовых к переплёту рисунков.

Пока Афанасий писал, ещё ничего не было кончено, казалось, возможно было лю-

бое самое необыкновенное превращение. Образ менялся, словно живой, играл выражением глаз, могла нахлынуть печаль, и тут же её сменяла улыбка. Пока не окончена была работа, лик оживал под кистью, вступая в беседу с тем, кто останавливал его в красках, и позволял сохранить след себя, отброшенную на вечность тень.

Рисунок лёг в пачку к другим рисункам, навсегда перестав принадлежать художнику. В такие моменты Афанасия всегда посещала печаль, удалялось от него то, что только-только было самым главным в жизни, полностью наполняло душу. Но пустота не побеждала, новый образ медленно, но решительно занимал воображение. Живое, дышащее творчество вновь начинало возникать под кистью на пергаменте, завладевая мыслями мастера.

Черные линии складывались в рисунок, Афанасий склонился над новой работой: Иоанн Богослов бережно сжимал в руках листки Евангелия и палочку, которой выводил священные слова. Какие воспоминания проносились в голове евангелиста? Как набирал он бриллианты слов в песни Священного писания, как выбирал лучшее из драгоценного? Легка была его правдивая рука. Необычайным счастьем владел человек, видевший земной путь Спасителя и поделившийся этим богатством с людьми.

— Ты и так тих и смирен, как монашек! Чего ж тебе ещё?! — голос Феофана, громкий и суровый, заставил Афанасия вздрогнуть.

Старший мастер рассматривал его рисунок.

— Пойдём! Поговорить надо.

Афанасий послушно отложил работу, остановив на полуслове откровения Иоанна.

— Пройдёмся, — практически приказал Феофан, выйдя в монастырский двор.

Они молча вышли из Кремля и долго петляли по извилистым улочкам деревянной Москвы, приближаясь к её окраинам. Афанасий размышлял о неоконченном рисунке и не пытался узнать, куда они, собственно, направляются.

В конце концов Феофан начал речь, которую, должно быть, долго готовил.

— Ты считаешь нас всех грешниками? — он не ожидал ответа, вопрос был риторическим. — Разве нельзя быть праведным в миру? — последовал ещё один вопрос. — Можно! — пламенный грек ответил сам себе. — Ты хочешь покоя. Но если успокоишься, сможешь ли писать? Не нужно так непоправимо менять свою жизнь! Ты отличный мастер! Души умеешь трогать! Примешь постриг — будешь привязан к одному месту, обязан будешь подчиняться настоятелю, всё заработанное придётся отдавать

монастырю! Зачем тебе всё это? Одумайся! Иконописец должен быть свободным!

Афанасий молчал, получалось, что Феофан разговаривал сам с собой. Город закончился, началась дорога в лесу, широкая просека в колдобинах от деревянных колёс. Через час быстрой ходьбы свернули на тропинку, которая привела путников к небольшому скиту, принадлежащему одному из монастырей. Он был огорожен высоким забором, калитка оказалась закрытой на засов. Феофан решительно постучал в калитку кулаком, но никто не отозвался, тогда он стал бить в доски ногой. Наконец негромкий, едва слышный голос спросил:

— Господь с вами, что так стучите? В чём нужда? — в щели между досками сверкнул чей-то глаз.

— Я от настоятеля вашего — иконописец Феофан! Откройте! — решительно потребовал Феофан.

— Да как же открыть? Нельзя сюда никому.

— Настоятель ваш разрешил!

— Не могу я открыть... Сейчас у старшего спрошу.

— Эй! Погоди!

Но человек по ту сторону закрытой калитки уже ушёл.

— Знаете ли вы, куда пришли? — через несколько минут пробасил низкий, суровый

голос. — Смерть здесь.

— Да! — Феофан стоял на своём. — Знаем. Открывай!

— Ну что ж, входите... Раз в Бога веруете...

Калитка отворилась. Два монаха — крепкий старик с усталым лицом и молодой похожий на девушку парнишка — поклонились вошедшим иконописцам.

— Проходите, коль нужда есть, — покивал старик на большую избу в центре скита и часовенку рядом с ней.

Монахи ушли, оставив пришедших одних.

— Ты понял, куда мы пришли? — Феофан повысил голос.

— Догадываюсь.

— На севере страшный мор! Смерть лютая! Бегут люди в Москву! Здесь, в этом скиту, они смерти своей ждут, чтоб в город мор не проник! — огненный грек был страшен, его смуглое лицо, казалось, ещё больше потемнело, подлинный, животный страх появился в глазах-углях. — Это жизнь!

— Нет...

— Ты плюёшь на весь мир! — не дав Афанасию ничего сказать, перебил его Феофан. — Хочешь спасти только себя?! В этой избе настоящие страдания! Остаешься среди людей и сможешь уменьшить горе в этом мире. Твои и мои иконы приносят радость, готовят победу Божью, в противовес смерти. Но мы всего лишь люди!

— Ты словно с укором говоришь: «всего лишь люди»? Человек — храм Божий. Спасётся один человек — вокруг спасутся тысячи, так говорят святые отцы.

— Так истова твоя вера? Готов отказаться от своей воли? Принимаешь полное смирение? Ты готов войти в эту избу, где смерть?

Когда Феофан произносил последние слова, Афанасий уже переступал порог чумной избы.

— Стой! Не нужно! — Феофан бросился вслед за ним, но не смог пересилить себя, остановился в нескольких шагах от смертной угрозы.

Чернота дверного проёма в ярком солнечном свете сияла всеми страстями ада возможной смерти. Угроза была реальной, близкой. В этой чумной избе смерть из абстрактной, витающей в мире теней, пугающей человека всю его жизнь, но остающейся непонятной, превращалась в реальность. Здесь она прекращала свои подлые игры и выставляла себя напоказ.

Афанасий долго всматривался в полумрак неосвещённой избы, вслушивался в тяжёлые хрипы, стоны, разрывающий чьи-то лёгкие кашель. Несмотря на открытые двери и окна, в бараке было невыносимо душно. Когда его глаза привыкли к темноте, он увидел ряды лавок, на которых лежали

измученные болезнью люди. Беда стёрла все различия между ними — здесь были старики, мужчины, женщины, дети — от совсем крошечных, наверное, ещё не умеющих ходить и говорить, до подростков, почти сложившихся юношей и девушек. Болезнь измывалась над каждым: бред, озноб, тела разлагались заживо, разрываемые гнойниками язв.

— Кончается, — отпустив руку лежащего у самой двери мальчика, сказал старик-монах, обращаясь непонятно к кому, — быстро сгорел.

— Афанасий! — громкий голос Феофана раздался со двора.

— С водой у нас беда, — вздохнул молодой монашек, — ручей далеко, а болящие много пить просят.

— Афанасий!! — не унимался Феофан.

— Я помогу. Где вёдра? — вызвался Афанасий.

— Вёдра и бочка во дворе. Ты воду нам принеси, только больше в избу не заходи. Нет в том надобности. Мы тут сами. Ручей вниз по дороге, налево, как выйдешь из ворот, — объяснил старик.

— Афанасий!!! — теряя терпение, в истерике надрывался Феофан.

— Да как же вы? Ведь и вы можете слечь...

— Брат был с нами Фёдор, умер вчера, — перекрестился монашек.

— Божий промысел привёл нас сюда, — старик ласково погладил по голове умирающего ребёнка. — Для нас большая радость — пострадать за Христа. Спасибо Господу — удостоил. Мы до конца здесь останемся. Если призовет нас Господь, значит, такова Его воля.

— Когда помрут здесь все, скит сожгут, огнём заразу выжгут, — сказал монашек печально.

— Афанасий!!! — вновь донёсся крик со двора.

— Ты с ума сошёл?! Смерти захотел?! — заорал на вышедшего во двор Афанасия Феофан, бросившись ему навстречу. — Я ж проверить тебя хотел! А ты, дурак, в пекло полез! Жить надоело? Помрёшь, мне потом хоть в петлю лезь.

— Да не будет ничего. Я даже в избу не заходил, так, на пороге постоял. Не волнуйся... Я помогу монахам. Воды нужно принести. Ты иди, у них бочка пустая. Как справлюсь — приду, — Афанасий взял в руки стоящие рядом с бочкой вёдра.

— Придёт он... — пробурчал Феофан, — что ж, я не помогу болящим, — он выдернул одно ведро из руки Афанасия. — Пошли уж. Где источник?

— Сказали, ниже по дороге.

— Так пойдём быстрее, — Феофан решительно отодвинул засов на калитке.

Когда бочка была наполнена, иконописцы, простившись с монахами, направились назад в Москву. Бодро шагая по дороге, Феофан искоса долго поглядывал на Афанасия, потом ухмыльнулся.

— Самому-то небось страшно было в избу входить, так близко к смерти подойти.

— Страшно, — Афанасий повёл плечами, — спина вмиг мокрой стала от пота. В детстве, когда мор семью мою унёс, тоже боялся, но такого страха, как сегодня, не припомню. А тут... Сказал ты, что на Божью волю положиться нужно... Тяжело заставить себя понять, что правду ты сказал: не должно быть над жизнью моей воли, иначе нельзя принять постриг, как только через полное смирение!

— Ты понимаешь, что говоришь?! Если до конца решишься идти этой дорогой... А вдруг скажет тебе духовник, чтоб не писал ты больше? Что ж, не станешь писать? — Феофан остановился. — Бросишь иконопись?

— Да, — кивнул Афанасий, не отводя глаз от тяжёлого взгляда огненного грека, — не притронусь к кистям!

— Читал я, что великий богослов Иоанн Дамаскин готов был бросить писания свои в послушание духовнику. Только скольких святых молитв лишилась бы Церковь?! Ты тоже много сделать можешь! Хорошего иконописца редко встретишь. А у тебя особое

письмо. Жаль, если пропадёт такой дар! Послушай меня! Не спеши! Остайся в миру, пока молод, пока силы есть, а там уж...

— Нет! Решил я. Закончим работу в Чудовом монастыре — уйду.

— Да ты тоже можешь оказаться в такой избе! — не выдержав, снова повысил голос Феофан. — Вместо этих монахов мог быть ты!

Он махнул в раздражении рукой и, не оборачиваясь, быстро пошёл по дороге. Афанасий не стал догонять расстроенного товарища. Сам он пошёл медленно. И только сейчас по-настоящему почувствовал лес, окружавший петляющую дорогу. После суеты города, притупляющей чувства, после потрясения от увиденного в больничном скиту, все тяжёлые мысли вытеснила красота природы.

Победили величественные ели с царственными изогнутыми ветвями, нежные, светящиеся среди зелени стволы берёз, сияющие точки спелой черники, опадающей от спелости. Зачаровывал тишину бора доносящийся издали голос кукушки. Кому она считала годы? Или баловалась и дразнила случайных слушателей, чтоб те решились погадать на её голосе: сколько лет жизни соизволит подарить им далёкая птица? Или не птица она вовсе, а кто-то играющий с вечным соблазном человека — желанием узнать будущее. Афанасий ещё боль-

ше замедлил шаг, опьянённый сладким, чистым, обласканным особыми запахами лета воздухом.

День близился к вечеру, никто из иконописцев не знал, куда увёл Феофан Афанасия. Работа не спорилась, особенно не по себе было Семёну.

— Да куда ж они пропали?! — не выдержал он. — Скоро темнеть начнёт!

— На сегодня можно работу кончать, — вытер кисть о тряпку Фрол; в отсутствие Феофана он всегда оставался за старшего.

Мальчишки-подмастерья спешили побыстрее убежать на улицу. Мастера не торопились, теперь нужно было привести кисти и краски в порядок, спокойно рассмотреть сделанное за день.

Юный красавчик Никита сел рядом с Фролом, начавшим перебирать свои стопочки с красками.

— Фрол, давно хотел спросить, ты сколько лет женат?

— Да уж и не помню, — пожал тот плечами, — внуки уже у меня.

— А много женщин у тебя было? — не постеснялся спросить Никита.

— Да по молодости были. А сколько... Давно это было, я уж толком не помню.

— И любил ты их? — не унимался парнишка.

— Да что ж, и любил, — Фрол продолжал возиться со своими стаканчиками.

— А смог бы ты совсем отказаться от женщин? — Никита пригладил рукой свои роскошные пепельные кудри. — За всю жизнь не полюбить ни одну? Что за жизнь без любви?

— Не знаю, — насупился Фрол. — Что теперь на старости лет мне об этом говорить.

— Да как же без баб?! — поддержал друга Борис. — Разве бывает что-нибудь слаще их. Иногда прям глаза разбегаются, одна лучше другой: молоденькие, спеленькие...

— Тьфу, прелюбодеи, — не выдержал Семён, — опять ты, Борис, за своё!

— Прекрати, Борис! — разозлился и Никита. — Всё у тебя дурное на уме! Я о другом... О том, как сердце стынет сладко, когда ждёшь её под вечер. Когда думаешь о ней — весь мир любишь, весь свет золотыми красками сияет. О любви я говорю, о настоящей!

— Да где она настоящая-то, вечно бредни у вас одни на уме, — махнул рукой Семён и ушёл прочь из мастерской.

— Я жениться хочу на моей Любаше, — ласково улыбнулся Никита Фролу. — Вот думаю-думаю и никак не пойму Афанасия. Ничего лучшего, чем Любаша, не случилось со мной за всю жизнь. Как может Афанасий взять и отказаться от возможного счастья?

Если б знал он, какая радость от любви, как наполняет тебя нежность! Кажется мне, знай он такое счастье, ни за что бы в монастырь не собрался.

— Любовь, счастье... — Фрол вздохнул. — Прикоснулся ты чуточку к любви, подумал, что достаточно тебе её. Конечно, у многих и того нет. А если может человек душу отдать Богу да так всю любовь впустить в себя — вот и будет подвиг монашеский.

— В монастыре от тоски помереть можно! — не удержался Борис. — Тоска у них зелёная! Ни воли, ни радости! Я понимаю, если выхода нет, сирота человек или увечный какой, а тут ведь иконописец изрядный. Большие деньги люди готовы платить за его иконы. Сам себе хозяин. Что за дурь на него нашла? Кто ему мешает в Бога верить? Мы тоже все православные! Зачем же обязательно в монахи уходить?

— Знаешь, Фрол, — снова обратился Никита к старику, он словно не слышал слов своего бесшабашного друга, — пожалуй, страшновато было бы мне всему существу открыться. Откуда любви в себе взять, чтоб на весь мир хватило?

— Так вот Бог и подаёт её просящим.

— Мне бы Любашу сделать счастливой... Может, я и грешен, только и сам хочу счастья. А за любовь нашу жизнь готов отдать.

Борис закончил убирать свой стол и мол-

ча, обиженный, что на его слова не обратили внимания, ушёл.

Фрол потрепал лихой чуб Никиты, вроде бы как по голове его погладил.

— Любовью у нас всё зовут. Но от тяги к женщине столько мерзости появляется. До смертоубийства люди доходят, бывает, жизни себя лишают. Грехи тяжкие на душу берут. А всё твердят: любовь! Сами же черноты полны. У тебя вот душа хорошая, побереги её, не губи почём зря. Проверь себя получше. Нельзя женщину больше души любить, больше Бога. И не мотай головой, пока поверь мне на слово. Потом своим умом дойдёшь до понимания, что, губя душу, погубишь себя всего. Сколько людей хороших через страсть дурную погибло. Не всё любовь, что под неё рядится.

— Да как же... Сколько песен о любви сложено... А ты такую низкую цену ей даёшь?

— Видел я и счастливые семьи, мало, три-четыре за мою жизнь. Однако встречал. Может, повезёт тебе... Только песни плохие советчики там, где нужна собственная голова на плечах.

— Если так рассуждать, то прав Борис: жизнь — тоска зелёная! Что ж, не жениться совсем?

— Не обижайся, — улыбнулся Фрол. — Конечно, женись, я на свадьбу к тебе обязательно приду. Только запомни мои слова:

когда доживёшь до старости — если не потеряешь себя — ещё не раз Афанасию позавидуешь. На старости лет по-особому тоскует душа о Боге.

— Ну уж нет, — повёл плечами Никита, — монастырь не для меня! Никогда я не пойму, почему люди из мира уходят, словно умирают до времени.

— Не загадывай на всю жизнь. Погоди, когда-нибудь вспомнишь этот наш с тобой разговор.

— Ой! Меня же Любаша ждёт!

Никита метнулся к двери, с грохотом закрылась она за влюблённым парнишкой.

Фрол склонил голову на пёстрые, в мазках разноцветных красок руки. Слёзы подступали от растревоженной души, в тоске по чему-то несбыточному, неслучившемуся или просто минувшему, всё равно что этого прошедшего и не было. Он поднял глаза на почти законченную икону — апостол Павел нежно, внимательно смотрел на старого мастера. И от этого взгляда Фролу стало совсем совестно: поучая Никиту, был ли он честен сам с собой? Сам-то он с достоинством готов принять оставшуюся ему жизнь? Старость и немощь — у них свои соблазны, что губят не меньше страстей молодости. Достоинство старости... Хватит ли мудрости смириться с медленным умиранием, с постепенно слабеющим телом, которое на глазах покидают силы.

Старый мастер провёл пальцем по поверхности иконы, как слепой ощупав бугорки красок, из которых складывался образ апостола. Он думал, что чувствует прожитые годы только как наступающую слабость тела. Пришла пора подтвердить себе самому, что в нём как в человеке главное — вечная душа, а не тленное мясо. Он хотел в это верить всю жизнь, но только теперь неизбежна стала проверка: действительно ли это его истина? Тело стремительно сдавало все свои позиции и готово было умалиться до бессилия ребёнка. У кого хватит мужества на деле отдать первенство душе, смирившись с умиранием тела.

Старик смотрел, не отрываясь, в глаза апостола. «Савл стал Павлом... Савл стал Павлом... Павел, помоги...» — бесконечно повторял он про себя. Постепенно печаль отступила.

«Всё сладится», — вслух сказал Фрол, потеряв глаза, которые с возрастом потеряли былую остроту. «У меня ещё есть пара лет, — посмотрел он на свои руки, начинавшие трястись к вечеру. — И у Афанасия, и у Никиты всё получится. Даст Бог, даст Бог... Не оставит Богородица».

Когда поздним вечером Афанасий вернулся в Чудов монастырь, во дворе у ворот его встретил Семён.

— Где ты пропадал целый день? Я чего только не передумал! — набросился тот на друга.

— Мы за городом были, в лесу... — Афанасий помедлил, но потом решил всё Семёну рассказать. — В скит ходили, где болящие с севера смерти ждут. Не говори никому. Мы в саму избу не входили.

— Зачем пошли вы туда?! — Семен схватился за голову. — Там же верная смерть! Если узнает кто, вас же самих туда отправят.

— Феофан хотел показать, каково моё решение. А может, крепость выбора моего проверял.

— Не ожидал я от него такого, — вздохнул Семён. — Ты небось не ел ничего целый день. Я тебе хлеба припас. Возьми, — он развернул тряпочку и отдал другу кусок каравая.

— Ягоды в лесу ел, но от них только голод сильнее.

Афанасий с удовольствием начал есть хлеб.

— Что ж Феофан так в тебя вцепился, — пожал плечами Семён. — Не сам ли человек свою судьбу решает? Что ему?

— Не думал я, что каждый так близко к сердцу примет моё решение.

Афанасий осмотрел тёмный двор монастыря, несколько светящихся окошек в братском корпусе.

— Надо ж, какая буря поднялась от моего ухода...

— Да... — Семён, стряхнув с тряпочки крошки, спрятал её в карман, — сегодня целый день рассуждали о тебе в дружине. — Никита, Борис и Фрол чуть не переругались между собой. Борис злится, словно обидели его чем. Никита и Фрол беседуют, кажется, понять хотят.

— Знаешь, мне в скиту было по-настоящему страшно. Это потому, наверное, что плоть ещё бунтует. Может, труднее всего отказаться от последнего тварного — от своей воли. Но чувствую я, только Божья воля ведёт к горнему миру... Наверное, кто-то понимает это, однако боится, а другой даже не понимает, почему тоскует душой... А Феофан давно вернулся? Он разозлился, на обратной дороге убежал от меня.

— Феофан уже давно спит. Сегодня ужинал со всеми.

— Пошли и мы спать, — Афанасий зевнул. — Устал я очень. Ноги гудят. Находился.

В следующие дни работа так захватила всю дружину, что было не до разговоров и споров. Игумен торопил иконописцев, просил успеть до праздника, приближалось Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Однако спешка была и отговоркой больше не обсуждать решение Афанасия принять постриг. В книжнице, где сосредоточенно трудились мастера, теперь целыми днями стояла тишина, никто не смог бы объяснить, что, собственно, происходит, почему каждому так беспокойно, почему всех растревожил и озаботил, в сущности, не касающийся никого выбор товарища.

Венчал напряжение Феофан. Он больше не работал с разговорами на виду у всего монастыря, а расположился рядом с остальными мастерами. Писал он сосредоточенно, его громадная взлохмаченная фигура, словно угроза, нависала над дружиной. Сам игумен заказал ему икону — Троицу. Феофан почти закончил работу над ней: жаркий, знойный полдень юга, в который Бог с двумя ангелами явился гостем к Аврааму. Создатель всего сущего, Творец и Отец живого со слугами-ангелами приблизился к людям, момент торжественный и величавый. Века стремилась падшая душа человеческая ввысь, и вот свершилась не имеющая границ милость Господня. Состоялась встреча как предвестница явления Спасителя. Феофан работал быстро, исступленно, полностью уйдя в себя, будто оставался один. Мастера не смели переговариваться, боясь нарушить такое его прилюдное затворничество.

Только Афанасий один из всей дружины не замечал ни напряжённой тишины, ни внимательных взглядов исподволь наблюдавших за ним товарищей, ни тревожной молчаливости Феофана. Он писал Иоанна Крестителя. Торжество духа над потерявшей власть плотью, силу веры и терпения предвестника. Удивительный, нежный лик того, кому доверился сам Спаситель, от кого Он мог принять крещение. Человек из пустыни, без всего мирского, без соблазнов — как чистый проводник вселенского бесконечного ожидания спасения исстрадавшихся человеческих душ.

Казалось бы, никто лучше иконописцев, постоянно работающих в святых обителях, не знал, как устроен быт в монастырях. Сколько иноков приходилось видеть мастерам, никаких тайн уж точно не должно было остаться. Но всё изменилось после решения Афанасия, то, что казалось простым и понятным, вновь обернулось тайной. Она напозла пугающей необходимостью отвечать на какие-то главные, основные вопросы. Такие сложные, что и понять их не каждый человек в силах. А тут рядом один из них не только, наверное, понимал всё, но и уже нашёл точный ответ. Когда и как незаметно для других он решил всемирную загадку? И что было делать им — всем остальным? Невысказанные, непонятые вопросы порожда-

ли страх, неуловимую, не до конца прочувствованную настороженность перед всем необъяснимым.

Афанасий не замечал нарастающей пропасти между ним и товарищами, только Семён по большой любви к другу нервничал, не мог смириться с отчуждением остальной дружины. Улетучивалась привычная лёгкость общения и простота, неловкость часто возникала за самыми обычными словами. Даже Фрол усиливал всеобщее напряжение, потому что постоянно старался подчеркнуть особое уважение к Афанасию, бросался защищать его, когда старому мастеру казалось, что будущего инока могут обидеть.

Изнеможенная строгими постами плоть Иоанна Крестителя на иконе Афанасия, казалось, усиливала ощущение победы предвестника Духа над плотью. Умиротворение высшего человека, выигравшего битву со всеми богатствами и страстями мира, что представляются людям непреодолимыми. У образа Иоанна Крестителя какими мелкими стали казаться страсти! Роскошь, великолепие и власть сокровищ человечества виделись мишурой и побрякушками рядом с величием нищеты и счастьем свободы от мира пророка из бескрайней пустыни.

Долгожданная череда солнечных дней уходящего лета обрадовала иконописцев. Во дворе начали варить олифу. Подмастерья ни

на минуту не отходили от кипящего варева из масел, перемешивая его палками. Мастера брали пробы и, посоветовавшись, бросали в котёл ещё какие-то добавки. Несколько раз густую массу остужали, процеживали, затем вновь ставили на огонь. Когда прозрачная и густая олифа была признана мастерами готовой, пришёл присланный игуменом монах. Инок принёс кусочки солнечного камня — янтаря. Феофан самолично нагревал в миске янтарь, пока тот не превратился в прозрачную лужицу растопленной смолы. Под пристальными взглядами иконописцев жидкая, прозрачная, золотистая на солнце струйка потекла из миски в чан с олифой.

Пустую келью долго выметали и мыли подмастерья, чтоб и пылинки не осталось. Иконописцы попарились в бане, переоделись в чистое льняное бельё. Келью натопили. Трудно было находиться в пышущей жаром комнате, когда на улице вовсю пекло солнце.

Помолившись, призвав на помощь Святого Духа, иконописцы приступили к работе, завершавшей их долгий труд в Чудовом монастыре. Прекрасные иконы, сияющие свежестью ярких красок, выставленные в келье на лавках, ждали последних прикосновений мастеров. Перекрестившись, живописцы взяли в руки кисти. Прозрачная

золотая олифа слой за слоем покрывала собой, защищала оконченные работы. Покрыв икону, мастер выбежал из душной кельи во двор, пока подсыхала олифа. Через какое-то время возвращался, чтобы положить следующий слой. И так много раз.

На улице разговор не клеился. Молчал Феофан, задумались даже беспокойные Никита с Борисом. Ребята-подмастерья притихли, не решаясь нарушить благоговейную тишину. Сейчас, в этот момент иконы переставали принадлежать живописцам. Образам предстояло пережить другое рождение, начать долгую жизнь. Забудутся имена людей, их сотворивших. Освящённые, обласканные Святым Духом, займут иконы свои места в храмах, в кельях монахов, в красных углах изб. Зажгут перед ними лампы. В горе и радости будут прибегать к ним люди. Кто-то, вглядываясь в них, будет рыдать, умоляя о помощи. Кто-то положит у них сотни поклонов, каясь в самых страшных грехах. И через них, через светлые эти образа придёт к людям покаяние, Божье прощение.

На волоске от отчаяния человек протянет к иконе руки с верой и последней надеждой — да услышит Господь молитву! И спасётся отчаявшийся. Сколько раз за долгую жизнь образа защитят собой людей. Спасённые в благодарность принесут им дары.

Золото, серебро, драгоценные камни обнимут скромные образа. Засияют они дорогим облачением. Тысячи губ в силе духовной любви прильнут к ним поцелуем. И случатся настоящие чудеса — прольётся на людей любовь Господня. Ахнут люди, назовут иконы чудотворными. И потянется к ним в поклонении бесконечная череда паломников.

Потом, всё это будет потом. Большинство имён мастеров забудут неблагодарные потомки. Да и так ли важна мастерам память о них в будущем, безымянное величие, может быть, предпочтительней. Словно Главный Творец всего сущего приходит в этом безличье в соборность христиан.

Но как ни удивительна и прекрасна была судьба уходящих в жизнь икон, всё же расставание с ними печалило мастеров. Словно выросших детей должны были пожертвовать миру иконописцы.

Афанасий целый день вообще не проронил ни слова, даже с Семёном не разговаривал. Тёр слезящиеся глаза Фрол, сам, наверное, не зная, почему эти слёзы выступают: просто устали глаза или от боли, что всё ближе время, когда каждая его икона может оказаться последней.

Через несколько дней утром во двор Чудова монастыря въехали несколько телег. Озабоченный Феофан распорядился по-

грузкой, бригада иконописцев собиралась в Ярославль, где их ждала новая работа. В Москве уже простились со всеми. Игумен заплатил мастерам хорошие деньги, Феофан по строгим, издавна заведённым правилам разделил их между мастерами.

Мешки, коробка, сундуки складывали в телеги, только Афанасий не укладывал туда свои пожитки, как остальные дружинники. Феофан ни о чём его не спрашивал, казалось, не замечал, что тот не собирается уезжать вместе со всеми. Никита с Борисом переругивались, перешучивались, перетаскивая вещи. Никита был немного печален, его тревожило расставание с невестой.

Монахи и паломники окружили готовый к дороге в Ярославль обоз. Феофан лично осматривал каждую телегу, отдавая последние распоряжения перед дальней дорогой.

В избе, где жили иконописцы, заканчивали уборку подмастерья. На лавке Афанасий складывал в узел свой скарб; он не заметил, когда вошёл Фрол.

— Уходишь? Ну и слава Богу... Свидимся ли?

— Что ты? — повернулся к нему Афанасий. — Я в Москве остаюсь. Вернётесь, не раз ещё увидимся, а то и работать будем вместе.

— Да, конечно, — покивал Фрол.

Афанасий снова занялся своим узелком.

— Послушай, — вновь обратился к нему

старик, — хочу попросить тебя об одном... Можно?

— Проси что хочешь. Столько добра я от тебя видел. Навек должник... — поклонился старому мастеру Афанасий.

— Молись там за меня, — слёзы блеснули в глазах старика, — кажется мне, что твоя молитва к Господу особенно мне поможет.

— Каждый день, — обнял своего старого учителя Афанасий, — как об отце молиться буду.

— Славно, — утёр слёзы старик. — Утешил ты меня.

Афанасий взял в руки свой узел и тут увидел, что самый младший из подмастерьев, десятилетний Проша, не отрываясь, не мигая, кажется, затаив дыхание, смотрит на него. Так могут смотреть только дети. Афанасий улыбнулся мальчику.

— Прощай, малыш, — погладил он по голове ребёнка. — Храни тебя Бог.

— Ты хочешь стать ангелом? — вопрос мальчишки прозвучал серьёзно и весомо.

Застыли остальные подмастерья, удивлённо поднял брови Фрол.

— Почему ты спрашиваешь это у меня? — немного растерялся Афанасий.

— Все говорят, что монахи ангельский чин принимают, — спокойно ответил Проша. — Ты же монахом хочешь стать? Значит — ангелом.

— Ангелом... — прошептал Афанасий едва слышно.

— Ты постарайся, — сам как ангел, нежно улыбнулся мальчик. — Так здорово будет, если станешь ты ангелом.

Неожиданно он потянул за руки Афанасия поближе к себе, тот поддался, склонился к малышу. Проша, став на цыпочки, чмокнул его в щёку. Окружающие совсем оторопели. А мальчишка, ничуть не смутившись, засмеялся и убежал на улицу.

Обоз уже был готов двинуться в путь, когда во двор вышел Афанасий с узлом за плечами.

— Прощайте, ребята, — поклонился он в пояс всей дружине, — не поминайте лихом, простите, если что не так. Прощай, Феофан, — поклонился старшему мастеру особо, — прости, Христа ради, если обидел чем или ввёл в искушение.

Огненный грек промолчал, продолжая поправлять поклажу на телеге.

— Не держи зла, — попытался поймать его взгляд будущий инок. — Благодарен я тебе очень, многому у тебя научился. Прощай!

— Зачем ты говоришь мне всё это?! Лучше б молча ушёл! Не смирюсь я никогда с твоим выбором! Неправ ты! Слышишь? И не убедит меня никто, что похоронить та-

лант в монастыре — это правильно! Иди!! Бросай всё, что таким трудом создано!

— Феофан, перестань! — не выдержал Фрол. — Гордыня в тебе говорит, а не истина!

— А ты не вмешивайся! — разозлился на старого мастера Феофан. — Сам знаешь, сколько трудов положено, чтоб дружину нашу собрать! Лучшую на Руси! Божьи храмы, что вашими и моими руками украшены, разве не дорогого стоят? Кто будет нести этот крест? Кто будет для людей иконы писать?

Феофан со злобой пнул телегу так, что лошадь испугалась, дёрнулась — возница едва успел остановить испуганное животное.

— На всё Божья воля, — покивал седой головой Фрол.

— Божья? — совсем вышел из себя Феофан. — А зарывать талант в землю — не грех ли это, в Евангелие описанный?! Проще всего плюнуть на всё и отправиться свою душу спасать! А здесь, среди людей, кто должен служить Богу? Другие, да?! Так они ещё и неправы?!

— Да кто тебе сказал, что просто или легко иноком быть?! — возмутился Фрол.

— Ремесло своё я не собираюсь бросать, — вздохнул Афанасий. — Не волнуйся, в нём вся моя жизнь.

— Закудахтали! — зло ухмыльнулся старший мастер. — Не ты будешь решать свою

судьбу. Другие теперь скажут тебе, как поступать!

— Так ведь решать-то будут святые старцы, — вмешался в спор Семён.

Остальные мастера с подмастерьями и провожавшие обоз люди — все отошли подалее, испуганно ожидая, чем закончится бурный спор.

— Ну ты, конечно, друга покрываешь! — сверкнул глазами на Семёна Феофан.

— Простите, братцы! — Семён вдруг повернулся к иконописцам и поклонился им. — Долго я думал и решил: уйду я с Афанасием в обитель. Не обижайтесь и не осуждайте. Давно уже хотел, а теперь вот...

— Семён! — удивился неожиданному решению друга даже Афанасий.

Пока Семён разыскивал в телегах короб со своими вещами, окружающие в полной тишине заворожено наблюдали за ним.

— Всё! Хватит! — вдруг заорал Феофан. — Не дети вы мне! Хватит с вами нянчиться! Не слушаете! Не понимаете! Не нужен вам Феофан! Всё! На юг, в Грецию, домой вернусь! Надоели вы мне с вашими загадками, полутонами... С зимой холодной! С летом как у нас зима! Живите, как знаете! Вы меня не понимаете! И я не хочу вас понимать! Всё вам оставляю! — показал он рукой на обоз. — Ничего мне не нужно! Всем пользуйтесь! Фрол! Тебе уступаю место! Теперь это твоя

дружина. Живите, как знаете! — осмотрел он иконописцев.

Пока дружинники растерянно молчали, огненный грек, не ожидая ничьих ответов, растолкав ошарашенную исходом спора толпу, быстро ушёл. Ушёл, не взяв ничего из своих вещей.

Монахи и паломники, обсуждая между собой случившееся, не спеша, разошлись. Дружина собралась вокруг Фрола, иконописцы в растерянности молчали.

— Фрол, — первым начал разговор Афанасий, — скажи, остаться мне пока с вами? Помочь. Потом, когда можно будет, уйду. И может, Феофан передумает, когда успокоится, — вернётся.

— Я тоже могу остаться, — поддержал друга Семён. — И мне не к спеху.

Фрол осмотрел дружину.

— Нет-нет. Мы сами справимся. Старшие подмастерья уже сами как мастера работать могут. Идите, ребятки, раз решили. Если сами не сомневаетесь, то моё благословение с вами. Идите! Утешьте мою старость... И я, значит, не зря столько души в вас вкладывал. Правильному учил... Уходите сейчас же — с Богом!

В тот же день Афанасий с Семёном постучались в ворота Спасова монастыря, созданного по вдохновению митрополита Алексия и построенного трудами старца Андроника,

ученика Сергия Радонежского. Игумен Савва, преемник святого Андроника, с радостью встретил двух известных живописцев.

Через несколько дней друзья давали обеты в монастырском храме пред чудотворным образом Спасителя, привезённым из Константинополя. Молилась братия о даровании двум живописцам кротости и смирения. Обещали иконописцы жить достойно, соблюдая чистоту души и тела.

Надели Афанасий с Семёном монашеские одежды, но не изменили свои имена. Предстояло им проверить себя — правильный ли выбор они сделали? Смогут ли нести тяжкий жребий иноческого жития, поймут ли лёгкость и свет монашеской жизни.

Потянулись дни один за другим, внешне похожие, как близнецы. Стук колотушки утром, подъём к заутрене, молитва и труд целый день. Недолгий сон, и снова словно тот же день, что и вчера. Одно служение — писать иконы.

Тих монастырь. Деревянные кельи, деревянный храм, часовенка над могилой погибших на Куликовом поле. Из этого монастыря выступали воины на битву, сюда и вернулись на вечный покой.

Молятся монахи, обращаясь к вечности, знают цену слову. Это не мирские речи, где слова уходят, как вода в песок; в них теряется смысл, запутываясь в неточности, нео-

днозначности. Заплутав в компромиссах, не высказаться человеку, не достигнуть гармонии с собой. Слова уступают звуку, изображению и сдаются только в молитве, в певучести её высшей музыки. Но за пределами молитвы вновь теряются, из неопределённости проваливаясь в пустоту.

Афанасий с Семёном за проведённые в дружине годы научились друг друга понимать так, что ежедневные слова стали им не нужны. Да и о чём говорить, если и так всё понятно в строгих правилах монастырской жизни. Живопись же совсем не требовала слов, ей достаточно было образов. Удивительная тишина установилась между друзьями-иконописцами, поселившись третьей в их келье. Оказалась она необычайной радостью, даровавшей просветление, будто не было между душами границ непонимания.

Месяц за месяцем проходил год, миновав зиму, вновь наступили тёплые дни. В начале лета Афанасий босым стал на паперти у монастырского храма. Долго стоял он, в одной рубашке, не подпоясанный, у церковных ступеней, последний раз проверяя себя: готов ли распрощаться с миром, отказавшись от всего, даже от собственного имени. Сможет ли принять нищету как награду. Приняв смирение всей душой, в кротости отдать свою волю Богу. Больше не оставлять себе права на греховные помыслы, на со-

мнения, когда обычные для людей метания становятся тяжким грехом.

Загудел колокол, собирая на молитву братию. Появился величественный игумен в праздничной одежде. Два монаха под руки ввели Афанасия в храм, подвели поближе к царским вратам.

Игумен строг. Зачем пришёл этот босой, в рубахе человек? Что нужно ему? Какое он принял решение?

Низко кланяется Афанасий. Постриг он желает принять. Готов дать все обеты иноческие, навсегда выбрать новую жизнь и как символ её взять себе новое имя.

В день памяти святого Андрея Критского быть иноку — Андреем!

Суров игумен, долго читает наставления. Сражайся как воин за свою душу, за веру православную, но сражайся смирением, кротостью, добром. Ибо зло победишь только любовью. Терпи! На пути твоём будет много скорбей и трудов. Но только через них придёт спасение. В борьбе теперь твоя жизнь, твой крест.

Не Афанасий ты больше, забудь своё старое имя, как и не было его вовсе. Ты родишься сегодня в Духе, имя этому новому человеку — Андрей!

Звучат колокола, радуется братия: человек преодолел плоть, засияла чистотой его

душа, обласканная Богом. Праздник! Приняты монашеские обеты, принят ангельский чин иноком Андреем.

Прошло ещё полгода. Когда декабрьская вьюга забелила монастырь, на ледяные ступени паперти стал в одной рубахе босыми ногами Семён, не ощущая холода, не побоявшись лютой стужи, согретый только внутренним теплом. Два брата ввели иконописца в храм. Не раз отвергал игумен просьбу о постриге, проверяя твёрдость Семёна, уверенность его в выбранном пути.

Жаждала душа иконописца жизни иноческой. Отрёкся он от мира страстей и принял монашеские обеты.

В день памяти пророка Даниила святой дал своё имя иконописцу. Исчез Семён, остался в прошлом. Имя Даниил принял монах.

В наступившие следом годы над Русью словно повисло проклятие. И хотя не смогли татары взять Москву — пограбив окрестности, ушли с богатым выкупом — только вслед им прокатился по княжествам страшный мор, опустошая города и целые области. В Москве случился небывалый пожар, сутки пылал город, пока не выгорел дотла. Великий князь перебрался в Коломну.

Тяжела была жизнь двух друзей-иконописцев в разорённом татарами монастыре.

Спасала Андрея с Даниилом только живопись. Казалось, у собственных икон черпали они силы, из неземных их красок. В трудах проходила жизнь, оставляя седину в волосах иконописцев.

Дружина Феофана давно распалась. Исчез где-то в дальних странствиях неутомимый, огненный грек, так и не подав о себе весточки. Успокоилась душа Фрола, преставился он, оплаканный многими учениками. Никита превратился в отца большого семейства, Любаша родила ему целый выводок ребятишек. Друг же его Борис так и остался бродить по свету один. Подмастерья из дружины Феофана сами стали мастерами, даже Проша, младший из них.

Только жизнь ни у кого из бывших дружинников не становилась легче. Совсем сгустилось горе над Русью. Несколько неурожайных лет сменил ещё один, совсем голодный год. Природа сошла с ума — летом выпал снег, хлеба погибли во всех княжествах. Страшный голод пополз с севера на юг, убивая живое. Люди ели людей, превращаясь в животных. Нигде не было спасения, ни у кого не осталось запасов. Следующей весной крестьяне не сеяли хлеб, негде было взять семян.

Но каким-то чудом начал возрождаться разорённый татарами Троицкий монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским. Как только отступил немного го-

лод, игумен монастыря, ученик Сергия старец Никон решил построить вместо деревянного Троицкого собора новый — каменный. Вот тогда и случилось настоящее чудо. Однажды к игумену пришёл крестьянин из ближайшей деревни и рассказал, что явился ему в видении преподобный Сергий и велел извлечь свой гроб из земли, где вода его заливает. Указал крестьянин место, где копать нужно, — там и нашли нетленные мощи, затопленные водой.

После обретения святых мощей решил игумен Никон, сам уже древний старец, что медлить нельзя; хоть голодно вокруг и беды со всех сторон, но нужно строить новый храм. Собор возвели в два лета, красавец вышел — белокаменный с ажурной резьбой. Нужны были Никону лучшие иконописцы на Руси, чтоб внутри украсить его достойно.

Собрались иконописцы, лучшие из лучших, из Ростова, Суздаля. Новгорода, Пскова, Москвы. Послал игумен инока в Спасский монастырь за мастерами Андреем и Даниилом, прося их возглавить невиданную дружину.

С особым почётом встречал у ворот своего монастыря отец Никон со всей братией лучших иконописцев — Андрея с Даниилом. Каждому мастеру выделил отдельную келью, чтобы могли они там жить и работать в покое.

Вечером в келью к Андрею игумен пришёл сам. Посмотрел, как тот вещи распаковывает, поинтересовался:

— Хорошо ли вас устроили? Удобная ли келья?

— Спасибо, отче, всё лучше не бывает, завтра же приступим к работе.

— Разговор у меня к тебе важный, — опустился на лавку игумен, — присядь рядом.

Андрей сел.

— Просить тебя хочу, — продолжал настоятель. — Много икон я твоих видел, в Москве, Владимире и других городах. Никому другому не могу поручить главное, только тебе. Напиши нам храмовую икону для собора. Напиши Троицу как бы глазами отца нашего Сергия.

— Отче, немолод я уже, сед, жизнь в работе прошла, но не знаю, даст ли мне Бог написать икону, достойную преподобного Сергия.

— Мы молиться будем всей братией, чтоб помог тебе Господь. Ни в кого другого так не верю, как в тебя. Прошу, не отказывайся! Все твои иконы порука тому, что справишься, нет у меня сомнений. Бери всё лучшее для этой иконы, во времени тебя не ограничу, только когда будут расписаны стены собора и готов иконостас, к тому часу заверши главную работу. Сделаешь? Обещаешь мне?

— Обещаю. А вы молитесь обо мне.

— Благословляю тебя, сын мой, — перекрестил иконописца настоятель.

С ранней весны до поздней осени украшали живописцы собор росписями и иконами. Работа трудная — сделать образа для трёх рядов иконостаса: пророческого, праздничного и деисусного.

И ежедневно Андрей возвращался к своей главной работе — образу Святой Троицы. Ни мастера, ни монахи, ни сам игумен — никто ни разу не видел неоконченной иконы. Никто не смел спрашивать о ней, тайна главной храмовой иконы в память о самом Сергии до поры всем казалась священной.

Весна с капелью, первая зелень, лето с травами по пояс, осень с летающей в подсыхающем лесу паутиной — изо дня в день возвращался мастер к работе над «Троицей».

Три ангела, три путника — а суть один Бог — уставшие, присели в дубраве Мамврийской. Единые в покое совершенства. Они решились показать свои лики человеку, не только старцу Аврааму, но каждому, кто готов видеть молитвенную икону. Троица у жертвенной чаши, у той краеугольной жертвы, которая впервые была принесена не людьми Богу, как было всегда. Во имя спасения человечества Сам вездесущий Бог принёс жертву людям: добровольно отдал Себя

на муки, подобно любящему отцу, готовому умереть ради своих детей.

Объединив в себе всё сущее, пронизав собой мир, торжествует Троица, единая в трёх ангелах. Небесная музыка гармонии стекла по золотым крылам, заструилась по складкам небесной голубизны одежд, осенила золотистыми нимбами склонённые друг к другу головы. Всё свершится, во веки веков Троица наполнит своей любовью созданную Ею вселенную, больше никогда не почувствуют люди острую боль одиночества, вернуться к Богу, назад, домой, в тот райский сад, в те дубравы, где станет едино в Господе всё человечество.

Отец Никон, как и обещал, ни разу не поторопил мастера. Только когда храм готов был распахнуть свои двери для освящения, пришла пора внести в него икону главную, храмовую — образ Святой Троицы. Игумен с братией и все иконописцы собрались у собора, ожидая инока Андрея.

Образ необыкновенный, непривычно светлый, казалось, сиял в руках мастера, обласканный солнечным светом. Все ахнули. Игумен Никон улыбнулся.

— Да, воистину эта «Троица» в прославление отца нашего преподобного Сергия. Ты, мастер, сделал что я хотел, — поклонился он иконописцу, — увидели твои глаза...

Блаженна

Санкт-Петербург.
Осень 1756 года.

Город на сорока островах у холодного моря засыпал. Тёмные воды реки, распадавшейся в низине на вены рукавов и каналов, вливались в невидимое, затаившееся где-то рядом море. Стелящийся у земли осенний ветер летал по пустым улицам города, но не мог настигнуть людей, укрывшихся в домах. Однако люди всё же боялись ветра, потому что он мог принести самую страшную беду для города. Он мог приподнять холодные воды залива, и они, послушные его воле, презирая медлительность и немощь реки, двинулись бы, наступая на бедный, беззащит-

ный перед морем город. Солёная вода, смешавшись с водами реки, как случилось не раз, залила бы улицы, пробралась в дома, с бездушной напористостью залила бы подвалы и, поднимаясь этаж за этажом, изгнала бы людей. Силой своей, не знающей пощады, могла бы даже совсем разрушить жилища, построенные слабыми человеческими руками.

Угроза моря и ветра, как проклятие, особенно остро нависала над приморским городом осенними ночами. Никому не дано было знать, когда могут подняться, напозпти страшные воды, когда подкрадётся коварное море, чтоб доказать: болота и низины у берега его по праву, а люди здесь только гости.

Доктор открывал дверь с трудом, ветер дул не уставая, не размениваясь на порывы. Дверь, словно упершись в воздушную стену, после секундной паузы с усилием прошла привычный поворот. Провожавшая доктора жена больного прикрыла ладонью заматавшийся огонёк свечи, поднесла её вплотную к двери, чем спасла огонь от ветра. Женщина и сама прильнула к двери поближе, защищая слабый, крохотный свет, лицо её оказалось ярко освещённым — измученное бессонницей нескольких дней, неестественно тёмное, с правильными, строгими чертами. Доктор не смог сразу заговорить, глядя в её большие глаза, светло-серые, чистые, переполненные тревогой. Пауза затягивалась.

— Плохой ветер, — сказал доктор, укутывая горло в шерстяной шарф.

Красивая женщина перевела взгляд со свечи на лицо доктора, немолодого обрусевшего немца, и заговорила неспешно, стараясь оставаться спокойной.

— Сейчас мы одни, скажите мне правду: чем ещё можно ему помочь? Он бредит, несколько дней не проходит жар, а эта сыпь.... Никогда не видела такой. Мы сделали всё, что сказал доктор, приехавший третьего дня, но Андрею Фёдоровичу не лучше...

Женщина покачнулась, огонёк в её руке рванулся вверх и потух. Одинокий масляный фонарь плохо освещал темноту Большой офицерской улицы, на которой стоял дом полковника Андрея Фёдоровича Петрова. Слабый свет фонаря не позволял жене полковника и доктору видеть лица друг друга. Доктор начал зябнуть от холодного ветра. Он уже много ночей почти не спал, эпидемия измучила город. Покосившись на свою пролётку под фонарём, он подумал, что несколько больных уже давно ждут его, так же мечутся в жару, как бедный полковник, и неизвестно, удастся ли застать их в живых. Там тоже убитые горем родные будут спрашивать его с надрывающей душу надеждой: что же это? Как же так? Что же это за

болезнь такая? Выживет ли их близкий, любимый, дорогой человек?

Хорошо, что погасла свеча, теперь отвечать жене больного было легче, не стало видно её глаз, таких огромных, чистых, какие редко встречаются у людей.

— Мы можем только надеяться. Должен пройти кризис. Как только спадёт жар, наступит улучшение, — доктор старался говорить уверенно, твёрдо, но в конце, неожиданно для себя самого вдруг прибавил мгновенно потеплевшим голосом: — крепитесь, моя дорогая.

Внутри дома в прихожей послышались быстрые шаги, потом к двери стал приближаться огонёк масляного светильника, из темноты в его свете появилась женская фигура.

— Ксения Григорьевна, вы же совсем раздеты. Возьмите хотя бы шаль.

Доктор заспешил.

— Прощайте, мне пора, — он почти побежал к ожидавшей его пролётке, не признавая себе, что невыносимо сейчас снова увидеть лицо провожавшей его женщины.

Ксения Григорьевна молчала, она не ответила ни спешившей к ней женщине, ни убежавшему от неё доктору. Она прижалась к открытой двери, выронила потухшую све-

чу и горько заплакала, стараясь из последних сил сдерживать рыдания, чтобы не услышали её плач в доме.

— Ксеньюшка, — подбежавшая домоправительница Прасковья Ивановна подхватила оседающую на крыльцо хозяйку, — родная, ну что ты, обойдётся, Андрей Фёдорович, даст Бог, обязательно выздоровеет, выдюжит. Он же у нас всегда здоров был, даже простуды у него не случалось. Не плачь, матушка. Не плачь...

— Не могу плакать у его постели, вдруг услышит... Ты, Прасковья, не беспокойся, я больше не буду.... Я всё выдержу, пусть только выздоровеет.... Душа он моя....

Женщины обнялись и медленно пошли внутрь дома, к спальне.

Большая чисто выбеленная комната была тускло освещена лампой, стоявшей на низком столике, заставленном отварами трав в чашах и разноцветными пузырьками с лекарствами. В углу мерцала лампадка у икон, располагавшихся на двух полках у самого потолка.

На широкой деревянной кровати, на огромной пуховой подушке, укрытый голубым стеганым одеялом, лежал хозяин дома — полковник Андрей Фёдорович Петров. Его крепкое тело, до этого никогда не болевшего молодого мужчины, шутя переносившего лю-

бые ненастья и усталость, сейчас сотрясал озноб. Через потрескавшиеся, сухие, изуродованные лихорадкой губы с хрипом и свистом прорывался вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Иногда какая-то внутренняя боль сводила судорогами тело больного, бред-видения заставляли произносить слова, кричать и даже петь. Вот и в тот момент, когда Ксения Григорьевна вошла в спальню, больной вдруг сбросил одеяло, впился ногтями в простыню и с такой страстью потянул, поцарапал её, что на полотне остались полоски-следы.

Ксения Григорьевна метнулась к кровати, упала перед ней на колени, но больной уже успокоился, рука его мгновенно обмякла и отпустила простыню, жена прильнула губами к горячим пальцам, поправила одеяло. Потом она быстро и решительно поднялась на ноги, оперлась о резную спинку кровати.

— Ты иди, Прасковья, поспи. И не перечь мне, я сама с ним посижу. И ты иди Маша, — обратилась она к кухарке, толстой тётушке, дремавшей у окна на стуле, — поспите. Если нужно будет, сразу позову, а сейчас уходите.

— Матушка, да как же мы оставим тебя одну, — Прасковья Ивановна попыталась уговорить хозяйку, — позволь нам хоть за дверью побыть.

— Нет, идите спать. Мне нужно остаться с ним, нет у меня сил говорить с тобой, Прасковья. Оставьте меня....

Испуганные Прасковья Ивановна и Маша не посмели больше спорить с хозяйкой.

Когда дверь за ними закрылась, Ксения Григорьевна села на стул рядом с постелью мужа. Взяла со столика чашку с отваром, маленькой ложечкой смочила им губы больного. Он жадно слизнул тёмные капли. Ксения Григорьевна осторожно, очень медленно напоила его из ложечки, боясь, чтобы он в забытии не поперхнулся.

Постепенно Андрей Фёдорович немного успокоился. Свистящее дыхание стало тише, пылающий румянец щёк, алевших жаром, начал переходить в желтизну, на лбу у кромки волос выступили капли пота, наступило глубокое забытьё, беззвучное, без движений.

Ксения Григорьевна затаилась, боясь нарушить тишину, что наступила в комнате; только ветер на улице бросал что-то в стёкла окон — листья, или капли дождя. Духота несколько дней не проветриваемой, сильно натопленной комнаты с острыми запахами лекарств, трав, немытого человеческого тела была почти невыносима, могла довести до дурноты, до полудрёмы. Переборков мгновенную слабость, Ксения Григорьевна тихонько поднялась, неслышно подошла к печке, потрогала горячие плитки изразцов. Она посмотрела на мужа. Отсюда, из угла комнаты, лицо Андрея Фёдоровича показалось ей

совсем жёлтым, восковым, как церковная свеча. К тому же страшная судорога вдруг исказила все его черты, свистящее дыхание вновь стало громким и прерывистым.

Ксения Григорьевна, посматривая на мужа, тихонько пошла к иконам. Она долго и пристально всматривалась в образа, потом медленно, безвольно осела перед ними на колени, склонившись в глубоком поклоне. Бросила быстрый взгляд на мужа и, перекрестившись, снова всмотрелась в лики Спасителя, Богородицы, Николая Чудотворца.

— Господи, если Тебе кто-то из нас нужен, возьми меня. Пресвятая Богородица, как награду я приняла любовь к Андрею Фёдоровичу. Когда уже не оставалось надежды мне, сироте, он дал мне всё — дом, любовь.... И он стал для меня всем, каждый день я благодарю Тебя... Мы с ним венчаны воедино! Что, половина он моя?! Нет, Господи, он и есть вся я. Если он умирает, матушка Богородица, с ним умираю и я сама.... Даруй, даруй нам жизнь! Он попросил бы сам, Ты знаешь, как крепка его вера, как искренни молитвы. Господи, помилуй, помилуй нас, грешных. — Ксения склонилась к самому полу, прижавшись лбом к холодным доскам, полежала, недвижимая, несколько минут и вновь встала на колени, пристально всмотревшись в иконы, словно изображения хранили тайный смысл, кото-

рого она не понимала. — Ты ведаешь, Господи, — голос её зазвучал спокойно, как в задушевном разговоре, — он так чист, как большой ребёнок. Не встречала я добрее человека, чем мой Андрей Фёдорович. Ты ведь знаешь, да? Сколько помогает он людям, как он умеет разделить горе каждого, как щедр с бедными. Он не ведаёт, что такое худое слово.... Я чувствую, Ты хочешь забрать его у меня. Так он и так Твой, весь Твой. погоди, Господи, позволь ему пожить ещё со мной. Или забери и меня. Господи, спаси его, молю Тебя, Ты всё можешь. Даруй чудо, исцели моего мужа! Возьми меня, меня! — Ксения испугалась, что криком помешала больному. Она прислушалась, но не услышала больше его хриплого дыхания.

Ксения, не подумав, что нужно подняться на ноги, на коленях подползла к кровати. Исступлённая молитва запоздала — Андрей Фёдорович больше не дышал, успокоилось его сильное, красивое тело, стёрлось с лица страдание — отпечаток болезни. Умиротворение и покой проявились в каждой морщинке и складочке. Ксения не мыслью, а каким-то неведомым ей доселе чувством поняла, что нужно закрыть покойному глаза, которые оказались широко открытыми. Она их закрыла, ничего при этом не ощутив, только его ресницы, нежные, слегка щеко-

чущие пальцы, заставили её содрогнуться. Что-то, наверное, они напомнили, и дрожь, мелкая, до зубовного скрежета, прошла по её телу.

Трудно было остановить эту нервную дрожь. Ксения легла на ноги мужа, покрытые сшитым ею для приданого ярким голубым одеялом, и притихла, ожидая: что-то должно случиться и с ней самой... Когда она почувствовала сквозь ткань одеяла, что тепла живого человеческого тела под ней больше нет, а вместо него всё ощутимее проступает холод, слёзы полились из глаз. Нет, она не билась в рыданиях, слёзы сами по себе медленно стекали по щекам; плакало тело, а рассудок больше не ощущал свалившееся горе.

Посветлели окна в спальне. Ксения этого не заметила, как не обратила внимания на Прасковью, тихо вошедшую в спальню и громко запричитавшую. Ксения не услышала её крика — испуга, ужаса, сочувствия и кто знает чего ещё. Прибежали кухарка Маша, истопник и дворник Илья. Ей что-то говорили, гладили её, пытались поднять. Лицо плачущей Прасковьи приблизилось к ней вплотную.

— Матушка, Ксения Григорьевна, что ты делаешь с собой? Почернела лицом, и седина... Ксенюшка, скажи что-нибудь, не молчи.... Илья, беги за Фёдор Фёдорычем, скажи, что брат его помер.

Прасковья с Машей сами не смогли расцепить рук Ксении Григорьевны, обнимавших тело мужа. Её руки будто окоченели вместе с остывшим телом. Покойника нужно было обмыть и переодеть, но Ксению Григорьевну, не сказавшую никому не слова, не могли вывести из оцепенения.

В доме уже суетились какие-то люди. Во всю готовились похороны. Все сокрушались, что умер Андрей Фёдорович без исповеди и последнего причастия. Брат покойного пытался уговорить Ксению Григорьевну, обещал поддержку всяческую. Наконец, позвали священника, и только по его уговорам Ксения Григорьевна позволила увести себя из спальни.

Целый день в доме спешно готовились к похоронам, к вечеру в большой зале поставили гроб с телом хозяина. Покойный, красивый и молодой, казался живым, скоротечная болезнь не успела его изменить. Приглашённые из церкви дьяк и его помощник читали нараспев по очереди молитвы и должны были читать их всю наступающую ночь. Для поминок купили продукты. Три соседские кухарки, присланные в помощь, всю ночь собирались жарить, парить и печь — готовить поминальный стол.

В небольшой столовой, рядом с кухней, кухарка Маша накрыла ужин. Прасковья

Ивановна, у которой с утра маковой росинки во рту не было, присела ненадолго перекусить. В столовую, придержав дверь, чтоб не грохнула, быстро вошёл Фёдор Фёдорович, вернувшийся с кладбища, где договаривался о могиле. Озябший, потёр замёрзшие пальцы, снял кафтан и бросил его в угол на лавку.

Прасковья Ивановна засуетилась.

— Фёдор Фёдорович, присядьте к столу. Вы ж с утра не ели. Пирожков поешьте или курочки. Кипяточку с малиновым вареньем. Не дай Бог, застудитесь.

Фёдор Фёдорович сел к столу, молча, не торопясь, начал есть всё, что подкладывала ему в миску Прасковья. Неспешно пережёвывая пирожок и запивая его из чашки горячим малиновым напитком, он спросил:

— Что Ксения Григорьевна? Выходила?

— Нет, — Прасковья всхлипнула, — лежит, сердечная, не говорит ни с кем, не спит. Как окаменела. Что теперь с нею будет?

— Да уж не дадим ей пропасть, — недоуменный пирожок лёг на стол, — дом этот её по праву, на приданое купил его брат. Полагается ей пансион как вдове придворного певчего. Сам регент хора, иеромонах Лаврентий, мне сегодня обещал. Регент сказал, что сама царица-матушка опечалилась. Андрей одним из лучших певчих в её хоре был, за то ведь и получил звание полковника. С самой царицей брат певал не раз, награды

получал, подарки и деньги, — с гордостью прибавил Фёдор Фёдорович.

Прасковья Ивановна вздохнула.

— Не о доме я и не о пансионе. Как жить она теперь будет? Детей ей Бог не дал, совсем одна осталась. Сама-то я уже немолода, — она поправила под платком седеющие волосы, — и замужем никогда не была, но много семей перевидала. Только такой пары, как братец ваш с Ксенией Григорьевной, видеть не приходилось. Одно слово, душа в душу жили. Такого человека, как ваш брат, никогда не встречала. Не помню, чтоб голос повысил, всегда приветлив, ко всем добр, а Ксения, она же, ну право, ангел. Я, пока к ним не попала, думала, не бывает такой любви на свете.... Казалось, один подумает, а другой уж знает мысли его. Так много любви в них было, что на людей вокруг её хватало. Всем рядом с ними было тепло.

Прасковья, не таясь, заплакала.

— Ничего, ничего, — Фёдор Фёдорович вновь взял недоеденный пирожок, доел его и долго выбирал на блюде кусок пирога с капустой, побольше и поподжаристой. — Мы не дадим ей пропасть. Она и вправду женщина особенная, душевная. Не дадим её в обиду. А брат мой, ты права Прасковья, хороший был человек. Такой с детства — незлобивый и жалостливый. Я на десять лет его старше, помню, как все его любили, и

семья, и чужие люди, а уж какой голос дал ему Господь. Бывало, в церкви рыдали люди, когда он пел, прямо душу вынимал.... Злой человек так бы петь не мог.... И я его любил... — Фёдор Фёдорович вдруг неожиданно полностью изменился, куда-то пропала из его взгляда гордость, опустились плечи, стареющее лицо сразу увиделось по-настоящему старым, он зарыдал в ладони, даже не выпустив из рук недоеденный пирог, — горе-то, горе какое....

Прасковья Ивановна растерялась, засуетилась, подбежала к нему, но Фёдор Фёдорович уже взял себе в руки.

— Стой, погоди, — он остановил Прасковью, не дав прикоснуться к себе, отвёл её протянутые руки, — погоди, Прасковья Ивановна.... Призвал его Господь, значит, такая у него судьба. Что плакать и убиваться, нужно жить. Все под Богом ходим, неизвестно, сколько нам отмерено.

— Да, Фёдор Фёдорович, правда. Все мы здесь гости, — Прасковья вновь вернулась на своё место. — Теперь похоронить его нужно достойно да вдову утешить.

Дверь из кухни приоткрылась, в щели появилась голова дворника Ильи.

— Фёд... Фёдорович, подвода пришла, для поминок посуда разная...

— Я сейчас, — Фёдор Фёдорович быстро оделся и ушёл вслед за дворником.

Утром следующего дня в доме начал собираться народ: родственники, соседи, просто знакомые и даже малознакомые люди, певчие придворного хора во главе с регентом иеромонахом Лаврентием. Все подходили к гробу, начиналось прощание с покойным. У гроба стоял брат усопшего Фёдор Фёдорович с женой и старшими детьми, каждый выражал ему своё соболезнование, про себя удивляясь, что у гроба нет вдовы. Людей набился полон дом, пришло время выносить покойного, священник в церкви Святого апостола Матфея уже заждался — всё было готово к отпеванию.

Однако Ксения Григорьевна не выходила из своей комнаты. Она заперлась на ключ и каждый раз на стук в дверь отвечала, что скоро выйдет. Нервничал Фёдор Фёдорович. После отпевания похоронная процессия должна была идти на Васильевский остров, где на Смоленском кладбище уже приготовили могилу. Кладбище хоть и было новое, без церкви, зато через недавно построенный мост через Малую Неву ближайшее от дома покойного Андрея Фёдоровича. Когда собравшиеся на похороны люди стали перешёптываться, подозревая Бог знает что, на пороге гостиной появилась вдова полковника.

В мгновение наступила полная тишина. Люди не могли поверить своим глазам, в

удивлении, не стесняясь, рассматривали одежду Ксении Григорьевны. И было чему удивляться.

Ксения Григорьевна была в одежде покойного мужа. Невысокая, стройная вдова надела костюм, в который могла бы вернуться с головой. Рубаха, камзол, кафтан, штаны — она не забыла ничего, даже картуз надела на голову, спрятав в него косу. Ксения Григорьевна твёрдой, решительной походкой прошла в залу и стала у гроба, взявшись за его краешек рукой. Все молчали, кое-кто хотел было подойти к ней с соболезнованиями, но, остановленный её абсолютно сухим, строгим взглядом, отступил.

Покойного вынесли из дома, заплакали какие-то люди, рыдали Прасковья с Машей, только Ксения Григорьевна спокойно и безучастно вышла на улицу и пошла вслед за гробом, который поставили на телегу. Прохожие останавливались, с любопытством разглядывая, конечно, не похороны, которых в эпидемию было множество, а странно одетую в мужскую одежду молодую женщину.

В церкви священник, знавший давно Ксению Григорьевну, ничего не сказал, поглядев на её необычный наряд, только на глазах у него выступили слёзы.

Церковный хор запел печально и грустно, горе растворилось в молитвах, в запахе ладана, навсегда прощался человек с зем-

лѣй, прощались с уходившим люди. Ни молодость, ни любовь не удержали человека на земле; плакали все, свои и чужие, обливая слезами горькое слово «смерть».

Только Ксения Григорьевна не плакала, не причитала, она даже чуть улыбалась, когда голоса певчих, отпевавших своего собрата, особенно вдохновенно взлетали под купол храма. Это была последняя музыка, которую они могли подарить одному из лучших певцов столичного города.

Ветер наконец утих. Город прятался за плотным туманом, сырым, покрывавшим лица людей росой. Дорога к кладбищу оказалась долгой. Дома от реки отступали вглубь островов — Городового и Васильевского, связанных новым мостом. Гавань у моста выдавала себя торчащими из тумана мачтами кораблей. Вода Малой Невы притекала издалека, из упавшего на реку облака, и, проскользнув под мостом, вновь исчезала в облаке.

Люди в похоронной процессии молчали, думая каждый о своём, не разглядывали больше Ксению Григорьевну. Она шла рядом с телегой, погруженная в свои мысли, и казалось, уже совсем не замечала окружающего мира.

Телега скрипела и подпрыгивала то на булыжниках мостовой, то на брусчатке. Ближе к кладбищу, на немощёной улице, она

два раза застревала в грязи, её вытаскивали, боясь, чтобы не пришлось гроб дальше нести на руках, как здесь уже не раз случалось на других похоронах.

В доме покойного полковника Петрова давно был готов поминальный обед. Окоченели от холода могильщики, которым хотелось побыстрее получить деньги и разойтись по домам. Поэтому затягивать прощание у могилы не стали, подвели Ксению Григорьевну к гробу, она не спеша, внимательно всмотрелась в последний раз в лицо Андрея Фёдоровича, поцеловала его в лоб и тут же отошла в сторону. Гроб быстро заколотили и уже через несколько минут на холмике могилы поставили временный деревянный крест.

Ксения Григорьевна посмотрела на крест и, обведя взглядом лица людей, спокойно и печально сказала:

— Вот и всё, похоронила я мою Ксеньюшку. Теперь Андрей Фёдорович совсем один остался....

Люди в испуге отступили от вдовы, и только Прасковья плача подошла к хозяйке, а та продолжала:

— Молитесь о душе усопшей рыбы Божией Ксении. Прасковья, — Ксения взяла за руку домоправительницу, — закажи заупокойную службу по новопреставленной Ксении.

Прасковья залилась слезами, а Ксения Григорьевна стала подходить к каждому человеку, стоявшему у могилы.

— Молитесь, люди добрые, за упокой души рабы Божией Ксении, — потом на несколько секунд задумавшись, она вдруг сказала с умилением. — Вы думаете, Андрей Фёдорович умер? Нет, это умерла Ксения Григорьевна. Андрей Фёдорович жив и будет теперь долго жить. Он будет жить вечно!

Прасковья плача обняла Ксению Григорьевну.

— Ксеньюшка, матушка...

Но Ксения, вырвавшись из объятий, перебила её с обидой.

— Прасковья Ивановна, зачем ты беспокоишь имя покойницы. Умерла Ксения, нет её больше! Андрей Фёдорович жив! Здесь он, перед вами, — она положила себе руку на грудь и поклонилась. — Ты поплачь, Прасковья, поплачь. Жалко Андрея Фёдоровича, осиротел он, один остался на свете, бедный он, бедный....

На поминках Ксения Григорьевна не села со всеми за стол, а закрылась в своей комнате.

Поминающие много пили и хорошо закусывали, особенно пошли горяченькие поминальные блины. Вначале за столом было

тихо, но потом разговор как-то разгорелся сам собой, становясь всё громче. И если вначале говорили всё больше о покойном, к концу трапезы уже вспоминали о делах семейных и о службе. Кто-то с кем-то познакомился, кто-то кого-то давно не видел. Плакал один сильно перепивший молодой певчий, его утешали, а он рыдал и говорил, что молодого полковника ему жаль и его жену, и его брата тоже, и жалко себя самого, и весь христианский мир. Его утешали и подливали ему ещё, уговаривая получше закусывать. Кухарки едва успевали подносить башни горячих масляных блинов, такой у поминающих был хороший аппетит после долгих похорон.

Прасковья Ивановна к концу обеда совсем утомилась, забегалась, да и шутка ли, чтоб каждый был доволен, никто не обижен, чтоб всем хватило закусок. Хорошо ещё, что Фёдор Фёдорович помогал ей, руководил застольем. Поминки закончились поздно вечером, последним отправили домой на извозчике уснувшего прямо за столом молодого певчего.

К следующему утру дом полностью убрали, ничего в нём, кроме завешенного чёрной тканью зеркала, не напоминало о случившемся горе. Ксения Григорьевна вышла из своей комнаты по-прежнему в одежде мужа, чем очень расстроила Прасковью

Ивановну, которая надеялась, что хозяйка к утру придёт в себя и переоденется в женское платье.

— Прасковья, пойди к стряпчему, — попросила Ксения домоправительницу, — пусть приготовит дарственную. Дом я тебе подарю. Тебе жить негде, теперь это будет твой дом. Вещи раздам бедным, а деньги в церковь отнесу — пусть поминают рабу Божию Ксению.

— Что ты, матушка? Мне — дом? А сама-то где жить будешь? Это твой дом, не нужно никому дарить его, — испугалась Прасковья.

— Андрею Фёдоровичу теперь ничего не нужно. Бери дом, Прасковья. Живи здесь, только пообещай мне странников пускать бесплатно...

Собрав все деньги и дорогие вещи — золотую табакерку, серебряные подсвечники, стопки и ложки, украшенные эмалью, — Ксения Григорьевна поспешила в церковь. Как только она ушла из дома, Прасковья побежала к Фёдору Фёдоровичу.

Настоятель храма Святого апостола Матфея отец Лука, увидев Ксению, входившую в церковную ограду, поспешил к ней навстречу. С жалостью и сочувствием благословил её, даже погладил по голове.

— Крепись, сестрица. Не нужно впадать в уныние, грех это. Теперь Андрей Фёдоро-

вич у Отца нашего небесного. Что ты так убиваешься? Терпи, моя хорошая. Нужно жить. Ты молода ещё.

— Возьмите, батюшка, это для церкви, — Ксения положила ему в руки завёрнутые в платок монеты и вещи.

Развернув платок, священник опешил.

— Сестрица, ты вдова теперь, зачем отдаёшь так много? На что сама-то будешь жить? Оставь себе хотя бы половину.

— Нет, батюшка, мне больше ничего не нужно. Андрей Фёдорович ни в чём сейчас не нуждается. Зачем ему деньги? Ты сам говоришь, Отец небесный даст ему всё, в чём будет нужда. А о душе Ксеньюшки молиться надо. Эти деньги на помин души новопреставленной Ксении, чтоб хорошо её поминали.

— Матушка, — у священника сами собой опустились руки, и он чуть не уронил дорогие подарки, — да как же я возьму всё это, как поминать живую душу?

— Да разве ж есть другие души? У живого Бога все мы живы... «...пойди, продай имение твоё и раздай нищим» — не так ли говорил Христос богатому юноше, желавшему спасти свою душу? Почему же, батюшка, ты не хочешь взять у меня эту безделицу? Я теперь точно знаю, что деньги, вещи дорогие мало значат для человеческой души. Поверьте Андрею Фёдоровичу, ниче-

го они не стоят у Отца небесного. Поминайте Ксеньюшку, поминайте... — Ксения поклонилась, перекрестилась на купол храма и быстро ушла, оставив священника в полном смятении.

Целыми днями ходила Ксения по Петербургской стороне, раздавая одежду свою и покойного мужа, а ещё бельё, полотенца, посуду, оставив Прасковье только самое необходимое. Бедные дома ей искать не приходилось, и раньше она часто бывала в них, помогая нуждавшимся. Везде её радушно встречали, сочувствовали, жалели. Часто даже сразу отказывались брать у неё подарки, помня о её горе; многие думали, что от горя молодая вдова сошла с ума, но она говорила со всеми здраво и спокойно, и вещи у неё всё же брали. Через несколько дней в доме Ксении Григорьевны не осталось ничего ценного.

Хмурый, озабоченный Фёдор Фёдорович, с которым уже не раз успела поговорить Прасковья, постучал в дверь комнаты Ксении Григорьевны и решительно переступил порог.

— Здравствуй, сестра.

— Здравствуй, Фёдор Фёдорович, — Ксения медленно подняла глаза на вошедшего.

— Правду ли говорит Прасковья, что ты собралась ей дом подарить?

— Правду.

— Да как же так, сестра? Где ж ты сама жить будешь?

— Андрею Фёдоровичу теперь не нужен этот дом. Зачем он ему? Теперь пусто тут и холодно. Раньше здесь часто пели, и не было печали, а теперь всегда будет тишина и горе. Как умерла Ксеньюшка, Андрей Фёдорович в этом старом доме не нуждается, у него новое жилище. Сейчас весь мир его.

— Но... почему же Прасковье хочешь дарить дом? Чужому человеку? — пожал плечами Фёдор Фёдорович.

— Прасковья мне не чужая. Идти ей некуда. Сирота она в мире, как была Ксеньюшка.

— Ну ладно, дом хочешь отдать Прасковье, жить в нём не можешь, но вещи зачем раздаёшь? Знаю, любила ты брата, но жить-то надо дальше. Хочешь, квартиру тебе наймём? Или с нами живи. У меня дом большой, всем места хватит, и жена моя, и дети любят тебя.

— Благодарю тебя, братец, — Ксения улыбнулась, — за доброту. Только, прости, не приму я твою помощь. Не может Андрей Фёдорович жить, как все люди. Вечная жизнь — не земная. Ничего ему больше не нужно земного, будет он странствовать. Не беспокойся, Богу он теперь принадлежит. Бог как отец и позаботится о нём.

— Ксения Григорьевна, — у Фёдора Фёдоровича от волнения дрогнул голос, — пожалей ты меня, грешного. Не позорь меня, Христа ради! Как людям в глаза смотреть буду, если отпущу тебя на улицу нищенствовать? Как на том свете отвечу брату — почему не уберёт его любимую жену? Не позорь меня, сестра!

— Фёдор Фёдорович, — Ксения с нежностью и любовью погладила деверя по плечу, — не печалься, всё уже решилось. Не в твоей власти изменить то, что будет, и не в моей. Хочешь мне помочь, так помолись об усопшей рабе Божией Ксении. Это всё, что можно сделать для неё.

— Господи, — Фёдор Фёдорович схватился за голову, — что ты делаешь со мной, сестричка? Как грех такой оправдаю? Ксеньюшка, ты ведь не простого рода, грамоте с детства обучена, наукам разным, знаешь языки и рукоделия. Как же ты хочешь бросить привычный для тебя мир? Ты же погибнешь на улице! А вина будет на мне...

— О мирском ты думаешь, братец, — вздохнула Ксения, — о том, что давно минуло. Андрей Фёдорович со своей Ксеньюшкой были соединены венчанием воедино. Что соединил Господь на небе, то не должны разъединять люди — не так ли в Евангелии сказано? Никто не может разорвать между нами связь, « ... оставит человек отца своего

и мать. И прилепится к жене своей, и будут два одной плотью...». Мы с ним одна плоть, Фёдор, одна плоть... Это ты думаешь, что Андрей Фёдорович одинок, не понимаешь ты и не веришь, что не может он быть один. Потому что есть для него жизнь вечная.

— Ксения Григорьевна, прошу тебя, сейчас пообещай мне — не дарить дом, пока сорок дней не пройдёт... И, ещё, регент хора иеромонах Лаврентий хотел поговорить с тобой, сходи к нему в келью, послушай, что он тебе скажет, — попросил Фёдор Фёдорович.

На следующее утро, впервые после многих дней туманов, небо над северным приморским городом посветлело, изредка даже проглядывало между облаками солнце. Солнечный свет веселил узкие грязные улочки бедных окраин, а роскошные проспекты центра города стали казаться прекрасными, сказочными. Поблескивала умиротворённая, неторопливая Нева, в её чистой воде отражались строгие дворцы, мрамор набережных, дуги мостов. Вода каналами и мелкими речками оплетала сорок островов, и непонятно было — улицы и парки опустились к воде или, наоборот, каналы и реки проникли в тело города.

У Невы гуляли люди, любясь пригожим деньком и красотой столицы. На улицах

было шумно, в тумане люди привыкали говорить шёпотом, а яркий весёлый свет оживил горожан. Особенно громко смеялись и кричали неугомонные дети, да и взрослые не могли отказать себе в удовольствии подыграть повеселевшей природе.

Ксения шла не спеша в Невский монастырь к регенту придворного хора. Вокруг неё шумели улицы. Горожане устали прятаться в домах, ветер отступил, больше не угрожало наводнение, эпидемия сходила на убыль — люди улыбались друг другу, даже незнакомые.

Город казался добрым и весёлым, Ксения с улыбкой рассматривала его. Когда она устала, то присела под деревом на набережной у моста. У неё стало так спокойно на душе, как раньше бывало, может, только во сне. Гул голосов, тихо убегающие мимо воды реки, увядающая осенняя трава под рукой, небо, где сквозь редкие тучи выглядывало неяркое предзимнее солнц, — всё растворилось в её душе, и она впервые почувствовала, что живёт теперь в городе, во всём этом городе и больше никогда не сможет спрятаться от него за каменными стенами домов. Мир словно вывернулся наизнанку, и настоящим местом обитания её были теперь эти улицы, обставленные и украшенные домами, деревьями, рекой, а человеческие жилища казались невыносимо пугающими, спо-

собными похоронить человека в себе, в своих стенах, не пропускающих жизнь.

Подумалось Ксении, что наконец-то Андрей Фёдорович отпущен на свободу, ни обязанности, ни вещи, ни стыд или страх — ничто не удерживает его больше. Осталась только любовь, только чистая любовь. Ксения окончательно решила: последнее, что необходимо сделать, — избавиться от дома, отдать его Прасковье. И всё, новопреставленная Ксения окончательно уйдёт, исчезнет, останется только Андрей Фёдорович.

Длинная, узкая келья иеромонаха Лаврентия, с продолговатым нешироким окном, плохо её освещавшим, была зачем-то чересчур наполнена вещами. Книги и ноты на полках, свечи в коробках, несколько лампад на сундуке, рядом горкой посуда, чётки, полотенца, одежда и прочее, прочее. Вещи делали комнату земной, уютной. Сам монах Лаврентий мало отвечал представлениям людей о регентах: был он маленьким, толстеньким, очень шустрым человечком.

— Ксения Григорьевна, садитесь вот сюда, поближе к печке. Водички хотите? Пряничек у меня есть, угощайтесь! — засуетился он вокруг вошедшей в келью вдовы, усаживая её на лавку и улыбаясь ей как старой знакомой; на самом же деле видел её до этого момента, кроме похорон, только однажды.

— Не беспокойтесь, батюшка, мне удобно и не нужно ничего, — отказалась от воды и от пряника Ксения.

— Пансион вам назначен, Ксения Григорьевна, — монах Лаврентий сел на табурет у стола и принялся рыться в горе беспорядочно набросанных листков, тетрадей, книг. Наконец он нашёл то, что искал. — Вот, извольте посмотреть, — он протянул Ксении бумагу, — вам назначен пожизненный пансион как вдове придворного певчего. Обещаю вам, матушка, также мою всяческую поддержку. Очень мы дорожили вашим мужем, прекрасный был человек, — на глазах регента выступили искренние слёзы. — Мы с вами вместе оплакиваем его.

— За хлопоты благодарю покорно, только не приму я деньги.

— Как не примете? — регент опустил бумагу, устав держать её на весу, в протянутой руке. — Пансион ваш по праву. Нет причин отказываться от него. Вам жить на что-то нужно. Берите, берите, — он снова протянул документ.

— Пойду я, пожалуй, — Ксения встала с лавки и направилась к двери, — благодарю вас за хлопоты, за доброту. Прощайте.

— Погодите, Ксения Григорьевна, стойте, — регент быстро встал и преградил гостье дорогу, став у двери. — Берите деньги! И не спорьте со мной! Сейчас от

денег откажетесь, потом сто раз пожалеете. Берите, раз вам положено!

— Нет-нет, никогда мне в них нужды не будет. Какую жизнь на них, думаете, могу я себе купить? Думаете, можно будет когда-нибудь хоть малость жизни на них выторговать для Ксении? Другими монетами идёт расчёт теперь у Андрея Фёдоровича. Уже роздано и то, что было, осталось только дом Прасковье подарить. Ничего не нужно Андрею Фёдоровичу, ничего; осталась одежда, — Ксения погладила на себе одежду мужа, — что тело прикрывает, остальное — лишнее.

— Здоровы ли вы, Ксения Григорьевна, — голос монаха зазвучал ласково и участливо. — Женщинам мужскую одежду носить не пристало. Нехорошо. Вы уж переоденьтесь, матушка... Послушайте меня, конечно, душа человеческая не нуждается в пище и доме, это понятно, но тело питать надо. Божьи угодники и те все люди были, пили, ели и в отдыхе нуждались. Ну, а мы-то грешные... Впасть в гордыню — искать для себя чрезмерные подвиги духовные. Грех на душу брать.

— Здоровая я, батюшка, и на душе у меня покойно. Почему странным кажется помин души усопшего всем именем, что нажил он в человеческой жизни? Неужто душа меньше тела? Почему особенным считается, если ценит человек душу, а от вещей и денег отказывается? Вы, батюшка, приняли пост-

риг, из любви к Богу оставили многое. Ведь не за подвиг же вы жизнь свою почитаете?

— Нет, конечно, — поспешно согласился регент, — какой там подвиг, пусть простит мне Бог мои грехи тяжкие, — он перекрестился. — Только, что ж вы вещи свои раздаёте? Фёдор Фёдорович, брат вашего мужа, волнуется, приходил ко мне вчера. Зачем жертвовать всё имущество и без копейки оставаться? Нужно и о себе позаботиться.

— Я, батюшка, ничем не жертвую. Жертвовать — от души отрывать, считать отдаваемое потерей. Я же раздаю ненужное и радуюсь, что помогаю кому-то. Бедный человек повеселится моему подарку, его радость — прибыль для меня, а не потеря. Какие вещи могут быть важнее света в душе через милостьню?

— Правда ваша — нет вещей важнее души, — со вздохом согласился монах. — Только и свою жизнь губить нам, христианам, не должно. Богом созданы мы для жизни.

— Андрей Фёдорович будет жить вечно, — улыбнулась Ксения.

— Он-то будет жить вечно, — регент начал терять терпение, — только и вы, Ксения Григорьевна, должны в достоинстве провести оставшиеся дни! Так что берите пансион, очень вас прошу!

— Не нужно так печалиться о Ксении, уходит человек к Господу своему, отмучился

он на земле. Больше ничего страшного не может произойти с покойным, все земные испытания позади. Дальше только Господь Бог вершит посмертную судьбу новопреставленной души. Молитесь, батюшка регент, об усопшей рабе Божией Ксении. Молитесь о покойной и радуйтесь, что душа её у Создателя. — Ксения быстро проскользнула в дверь мимо монаха, оторопевшего после слова «усопшей».

Минули сорок дней, для Ксении они слились воедино, дни и ночи не отличались больше друг от друга, объединились в своём бессмыслии. Недолгий сон только отключал память, но не давал передышки, а сбивал с ног тяжёлой чёрной пустотой. В нём не было фантазий, лёгких видений — не было отдыха. Начало тёмного тоннеля и его конец — вот и всё тяжкое забытьё. Наконец время вышло, сорок дней, поминки. Ксения с лёгким сердцем подписала дарственную. Теперь дом принадлежал Прасковье.

Ксения вышла из дома, теперь уже чужого для неё, стараясь не оглядываться на плачущую на крыльце Прасковью, причитавшую:

— Матушка, это всегда будет твой дом, возвращайся, не бросай меня...

Ксения осмотрела улицу вокруг, словно пытаясь стереть в себе особое чувство, кото-

рое каждый раз всплывает в душе при взгляде на родной дом. Чувство, может быть, нежности. Теперь она старалась раз и навсегда зачеркнуть, забыть многократно испытанную радость, что мелькала когда-то при виде этих окон, этой двери. Исчезли, ушли в прошлое те удивительные слова: «Вот я и дома», — которые когда-то заставляли её любить это место больше всех других в мире. Дом переставал быть единственным, можно было уходить.

Она могла пойти вверх по улице или вниз, не осталось и выбора, было всё равно, куда идти. Срывавшийся мокрый снег и ветер кружили вокруг неё, больно, наотмашь били в лицо, слепили, но необходимость видеть, рассматривать окружающее тоже на какое-то время стала необязательной. Ксения легко согласилась бы стать незрячей.

Ксения уходила всё дальше от своего бывшего дома, с каждым шагом обрывая с ним связь, подумав, что, наверное, когда-нибудь она и вовсе не узнает его, забудет.

Большая Офицерская улица закончилась, нужно было поворачивать за угол, и тут вдруг Ксения остановилась. Мгновенная слабость, неожиданная и необъяснимая, заставила онеметь тело. Непонятная сила перехватила дыхание, невидимое кольцо охватило и сдавило горло. Воздух прерывисто, с трудом пробивался через сведённую судорогой

рогой гортань, словно резал сомкнутые ткани, вызывая острую боль. Задышавшись, Ксения пыталась ухватиться за мысль: почему же ей так плохо? Почему она испытывает эту боль, почему её тело отказывается дышать? Где рождается эта мука, ведь нет страдания в её мыслях, в душе. Отчего же тело пытается убить её, откуда появилось что-то неподвластное ей в ней же самой? Из глаз потекли слёзы, и тогда удушье медленно отступило, дыхание постепенно вновь стало ровным. Но борьба с вырвавшимся на свободу телом отняла у Ксении так много сил, что она совсем перестала ощущать окружающее. Кружилась от слабости голова, улица покачивалась перед глазами, и от не унимавшихся слёз, и от летящего в лицо снега дома вдоль улицы, булыжники мостовой, фонари потеряли строгость очертаний, законченность реальных предметов.

На рассвете медленно просыпался Сытный рынок, задымили печные трубы над лавками, сладко запахло дымком. Фонащик тушил фонари, переносил лестницу от столба к столбу. Появились на рынке продавцы: лавочники, разносчики — коробейники, крестьяне, раскладывавшие свой товар прямо на телегах. Но стоило прийти на рынок первым покупателям, и в полчаса, словно прорвало дамбу, рынок наполнился

людьми. Началась торговля. Призывно, высокими, звонкими голосами закричали-запели, расхваливая свой товар, продавцы у прилавков. Заметались в толпе коробейники, склоняясь под тяжестью лотков, ремнями врезавшихся в их шеи.

Люди в толпе всё прибывали и прибывали, пока не слились во что-то неразделимое, единое, безликое. Человек среди моря подобных себе переставал замечать отдельных людей, опьянённый шумом, криком, суетой толкучки, наперекор здравому смыслу оставался совершенно один. Абсолютное одиночество выхватывало любого на секунду остановившегося среди толпы человека, необъяснимо опускалось на него, и он, поражённый, не понимая толком в чём тайна, всё же догадывался: это и есть настоящее отчуждение, настоящая горечь, сродни боли сиротства. Каждый в себе самом совершенно один, сколько бы ни было вокруг людей. Но вскоре рыночный поток подхватывал человека, не успевшего додумать, понять тоскливую мысль, и уносил его дальше, снова превращая в частицу суетливой толпы.

Ксения сидела на ступеньках у хлебной лавки. Хозяин лавки хоть и был недоволен, что нищенка часто побирается у его магазина, всё же не мог прогнать её. Он не объяснял себе, почему. Проходя каждое утро мимо Ксении, отводил в сторону глаза, но ничего

не говорил, впрочем, милостыню тоже никогда не подавал.

Ксения рассматривала людей, проходивших мимо, они же, занятые покупками, на бездомную нищенку не обращали внимания. Жидкая липкая грязь, в которую превращался ранний снег, ещё смешанный с дождём, чавкала под сапогами, лаптями и башмаками, поднимаемая колёсами телег, разлеталась, вымазывая стены домов.

— Ксения Григорьевна, — бывшая соседка наклонилась над задумавшейся нищенкой.

— Не нужно тревожить имя покойницы, — болезненно улыбнулась в ответ Ксения.

— Прости, прости, Андрей Фёдорович, — соседка виновато опустила глаза, — прими, не откажи на помин души Ксении, — она протянула копейку.

Ксения поблагодарила за милостыню, склонив голову в поклоне. Соседка быстро ушла, а Ксения, подняв глаза, увидела старика, худобой походившего на скелет. Старик устало и печально смотрел на копейку у неё на ладони, потом повернулся и поковылял вдоль прилавков, вглядываясь в лица торговцев, совсем не обращавших на него внимания.

Ксения вскочила.

— погоди, батюшка, погоди, — она догнала старика и сунула ему в руку монету, — возьми, поешь.

— А ты как же? — старик зажал монету в кулаке. — Сама-то ела?

— Дорога-то у тебя была долгая, и никто не подал тебе вчера... Пойди поешь.

— Да откуда ты?.. — начал было спрашивать старик, но осёкся, только поклонился в пояс и ушёл.

Ксения вернулась к хлебной лавке, но не села на ступеньки, а открыла дверь и вошла внутрь. Колокольчик на двери пискнул, хозяин из-за прилавка удивлённо посмотрел на бродяжку, решившуюся войти.

— Чего тебе, побирушка? Только вас, бродяг, здесь не хватало. Иди себе с Богом, а то покупатели тебя в лавке увидят.

— Можно я пряничек возьму?

— Да я ж тебе русским языком говорю... — начал было лавочник, но, остановив взгляд на смотрящих на него в упор чистых, светлых, детских глазах, забыл, что хотел сказать, и махнул рукой — ладно, бери.

Ксения взяла один пряник из кучи на деревянном квадратном лотке и поклонилась.

— Не жалея. Не держи сердце. Оно ведь у тебя доброе. Не бойся любить людей. У тебя не убудет. «Не оскудеет рука дающего». Поверь мне, ты богаче станешь... Не волнуйся, я уже ухожу...

Ксения вышла из лавки, съела пряник, разглядывая рыночную толпу. Два солдата остановились перед ней, один толкнул другого.

— Ты только погляди — пугало, баба в мужской одежде.

— Так она небось с приветом, — покрутил второй пальцем у виска, — сдвинутая. Эй, дурочка, что это ты на себя нацепила?

Ксения попыталась их обойти, но солдаты заготовали и, расставив руки, преградили ей дорогу.

— Куда, куда убегаешь? А ну стой! Не бойся нас, красавица!

— Да нет уж страха, служивые. Только кровью-то измазаны, не разберёшь — своей или чужой, а за смехом слёзы, а под рубахой рана, — показала она рукой на грудь рядом стоявшего солдата; тот инстинктивно положил руку на не заживший ещё рубец и побледнел. — Да рана не первая, не последняя.

Друг раненого закричал на Ксению:

— Сумасшедшая! Иди отсюда! Кликуша безмозглая! Иди, пока в шею не получила!

— Погоди, не нужно так, пусть идёт с Богом, — раненый, обняв разозлившегося товарища, потащил его прочь.

Ксения долго и печально смотрела на удалявшихся солдат, из глаз у неё потекли слёзы.

— Горе, горе горемычное. Молоденькие какие. Беда, и оплакать их будет некому.

— Андрей Фёдорович, — возле Ксении остановился знакомый коробейник Петя, лихой, симпатичный парень. — Кто обидел тебя? Скажи мне?

— Петя, — она улыбнулась сквозь слёзы, — не обидели меня, это горе я оплакиваю, не должно молодым людям умирать. Я хорошо это знаю.

— Возьми вот яблочко. Прости, нет больше ничего, чем бы поделиться.

— Да чем лучше можешь ты поделиться? Что лучше твоей доброты, Петя? — Ксения спрятала яблоко в карман.

К вечеру рынок постепенно опустел, по одной стали закрываться лавки, и Ксения ушла по улочкам вглубь Петербургской стороны. К закату похолодало, снова стал срываться снег, улицы были почти пусты, только у церкви Святого апостола Матфея к вечерне собирались прихожане. Внутри храма, готовясь к службе, уже зажгли свечи, проём открытой двери сиял в сумерках огнями свечей. Наверное, в церкви жило солнце, а, может, и сам Свет — так чудесно блистал в полутьме квадрат двери, призывавший в храм. Зазвучал колокол, созывая паству к молитве. Ксения совсем уж собралась войти в церковь, как вдруг

увидела идущую по улице молодую женщину.

Женщина несла на руках завёрнутого в одеяльце младенца. Прижимая его к себе, она горько плакала и тёрлась лицом о ткань одеяла, стараясь вытереть слёзы. Ксения догнала женщину.

— Пстой, погоди, сестричка. Что ж ты так плачешь?

— Ой, Господи, — всхлипывая, долго не могла ответить женщина, — на последние копейки была у доктора, а он сказал, что не жить моему сыночку... — слёзы перешли в рыдания.

— Нам с Ксеньюшкой Бог детей не дал, а я люблю детей. Они ангелочки. Дай мне сыночка твоего, сестричка. Я покачаю его.

Женщина с сомнением посмотрела на рваную одежду нищенки, но потом вдруг решительно протянула ей ребёнка. Ксения осторожно взяла малыша в одеяле. Он, почувствовав чужие руки, зашевелился, закричал. Ксения улыбнулась.

— Не бойся, маленький, не бойся. Успокойся, усни. Тише, тише, моя деточка. А-а-а-а, — запела она, качая крохотный комочек в одеяле. Ребёнок успокоился, притих. — Теперь бери его сестричка. Бери да береги. Иди домой, всё будет хорошо. Не умрёт он, будет жить. Бери....

Уже совсем успокоившись, женщина бережно взяла малыша на руки, приподняла

краешек одеяла и увидела, что младенец спокойно спит. Она долго, словно в забытьи, смотрела в лицо Ксении и, не сказав ей ни слова, медленно пошла по улице.

Закончилась вечерняя служба, прихожане разошлись по домам, потухли свечи, больше не сиял в ночи дверной проём храма, и сами двери закрыли на замок.

Ночь превратила город в его тень, масляные фонари не справлялись с могучей темнотой, одолевшей, полонившей город. Ряды домов стояли страшными стенами, суровыми, безликими. Вода рек и каналов, голубевшая днём чистейшим сапфиром, виделась чёрной, сравнявшись цветом с землёй. Под покровом ночи являлось, оживало в городе всё скрываемое при свете дня. Крики пьяной драки, визг избиваемой женщины далеко разносились по округе, и даже тишина казалась угрожающей. В безмолвии представлялись ещё более страшные преступления, бессловесные в своём ужасе. Ночь, настороженная, не поддающаяся человеческим глазам, зажимала город и горожан в свой кулак. Никто в городе не любил ночных улиц, стараясь спрятаться за стенами домов, за дверными засовами и оконными ставнями.

Для Ксении ночь больше не означала сон. Ночной город никогда не был тих и беззаботен, ничем не напоминал человеческую

спальню. Наоборот, он выплёскивал из себя всю гнусность, накопившуюся за день. Только к утру, к рассвету, устав бедокурить, он давал Ксении минуты отдыха, забвения.

Но как только начал оживать Сытный рынок, Ксения вновь села на ступеньки у хлебной лавки.

Сегодня лавочник не прошёл мимо, как обычно, сделав вид, что не замечает её, а остановился и долго, внимательно разглядывал нищую. Когда он заговорил, Ксения вздрогнула от неожиданности.

— Послушай, может, это и не из-за тебя, скорее всего и так, только вчера я весь свой товар продал. Не бывало раньше такого. Вот тебе рубль — помяни моих родных.

— Нет, — покрутила головой Ксения, — мне рубль не нужен. Дай мне «царя на коне».

— Копейку, что ли? — удивился лавочник, спрятал рубль и достал из кошелька монету с изображением всадника на коне, копейку. — Эту?

— Да, её, — кивнула Ксения, беря деньги.

— Помяни моих родителей, — попросил лавочник дрогнувшим голосом.

— Царствие им небесное, — перекрестилась Ксения.

Лавочник быстро исчез за звякнувшей колокольчиком дверью, но через некоторое время снова появился на улице и протянул нищей свежую булочку.

— Поешь, а мне работать пора, торговать надо, — сказал он зачем-то, перед тем как ушёл окончательно.

Съев булочку и посмотрев внимательно на копейку, Ксения пошла прочь с рынка. Свернув с Большой Офицерской улицы в переулок, она замедлила шаг, в узком немощёном переулке ей преградила дорогу невысыхающая лужа, в которой даже водоросли росли. Ксения обошла её по кромке вдоль забора. Грязные низкие дома переулка почти по окна вросли в землю, у одного такого дома она остановилась и постучала в калитку.

— Пелагея, ты дома? — позвала она громко. — Пелагея!

Калитку открыл мальчик в лохмотьях, не поприветствовав гостью, он побежал в дом.

— Мам, мам, Андрей Фёдорович пришла.

На пороге лачуги появилась женщина, с усталыми, словно заспанными глазами.

— Проходите в дом, Андрей Фёдорович. Милости просим.

— Нет-нет, я на минутку, — Ксения протянула Пелагее копейку, — на, возьми, купи детям хлеба. Я булочку съела, мне больше не надо.

Женщина взяла копейку и заплакала.

— Раньше ты мне всегда помогала, Ксеньюшка, когда в достатке жила. Сейчас мне бы тебе помочь, только нечем. Сами голодаем.

— Бери, Пелагея, смогу — ещё принесу. Ты вдова с тремя детьми-сиротами. Накорми детей. Церковь нас учит: брать милостыню и давать её — одно дело делать.

— Так ведь и ты вдова, — вздохнула Пелагея.

— Нет, сестричка, я — Андрей Фёдорович. Прощай. Пора мне. Слышишь? Колокол к обедне звонит.

— Да разве слышно? Кажется, звон к нам не доносится.

Колокольный звон разносился над Петербургской стороной, созывая людей в храм. Горожане, оставляя дела, повинувшись этому призыву, трогавшему душу, торопились на время расстаться с бесконечными житейскими хлопотами и уйти в церковь, чтобы оказаться в молитве, далеко над плоским миром земной суеты. Спешили в единстве веры паствы и священника отпустить свою душу на свободу, к вершине горнего мира, к чистоте детской мечты в абсолютное добро. Самая хмурая душа хотела, смутившись, дрогнуть покаянием, а самая чистая могла засверкать, переполнившись любовью.

Пока же колокола звонили, обещая светлую радость ежедневной молитвы. Ксения торопилась, боясь опоздать к началу службы. В церкви Святого апостола Матфея отец Лука уже переоделся, уже собрались певчие

и прихожане. Ксения поспешила войти внутрь храма, не присоединившись, как обычно, к нищим на паперти, но стоило ей войти в церковь, как к ней подошла женщина, у которой накануне был болен ребёнок. Решительно взяв Ксению за руку, женщина молча вывела её на улицу.

— Он здоров, мой сынок. Улыбается, кушает хорошо. Всю ночь спал спокойно. Ты спасла его! Я знаю, что ты! — она отпустила руку Ксении, которую до этого судорожно сжимала. — Как мне отблагодарить тебя? Что могу отдать тебе? Возьми всё, что у меня есть! Ничего дороже сына для меня нет. Душу тебе отдам за него.

— Сестричка, подумай сама, что может быть нужно такому человеку, как я?

— Да! Нет у меня ничего такого, что можно дать человеку, через которого Бог дарует другому жизнь. Но я не могу просто так уйти....

— Я болею от горя вокруг. Ненависти столько и злобы, ими, а не ножами убивают люди друг друга. Столько бед, сердце разрывается. Пойду я, служба началась.

— Постой, я обещаю. Теперь это будет мой долг тебе — помогать другим.

— Не мне долг, а Тому, Кто слышит нас, — Ксения остановилась и кивнула головой в сторону храма.

— Помолись ещё о сыне моём, прошу тебя, — поклонилась женщина.

Ксения в ответ улыбнулась ей и вошла в церковь, из которой уже давно доносилось стройное пение хора.

Зима наступила неожиданно, как это всегда бывает. В одну ночь ударил сильный мороз, город засыпало снегом. Утром проснувшиеся люди обнаружили, что всё, на чём только мог удержаться снег, забелено им, как волшебными белилами. Облачный день не казался хмурым и суровым, а предстал светлым и праздничным. Снег был тем дороже, что наконец-таки он мог называться первым. До появления всеобщего белого покрывала он только изредка срывался, показываясь у земли отдельными неприкаянными снежинками, а тут решился и отвоевал весь город.

Только начало зимы порадовало горожан, потом снежные морозные дни уныло потянулись бесконечной чередой. Потянулись, постепенно, по частям отдавая свою жизнь вьюжным ночам. Ветер, измучивший город осенью, не отступил, а сильнее обозлился, наполнился безжалостной стужей. Порой не так страшен был мороз, как пронизывающие порывы ветра, продувавшего любую одежду, уносившего последнее тепло.

Холод мучил Ксению длинными зимними ночами, не давал ей отдыха и днём. В засыпанном снегом городе что ни согревали

люди, тут же застывало, промерзало насквозь. Ксения редко, когда уж совсем коченеела от холода, просилась ненадолго где-нибудь погреться, но чаще люди сами приглашали её в дома, жалея замёрзшую нищенку. На Сытном рынке к ней уже давно привыкли, и многие охотно подавали милостыню, прося Андрея Фёдоровича помянуть душу Ксении Григорьевны.

Между низким зимним небом и застывшим городом ветер закручивал снежные бурячки, проносясь по присмирившим улицам, площадям и притихшим в холоде рынкам. Метель боролась с оказавшимися на улице людьми, подхватывала в парусах одеждах тех, кто шёл с нею по пути, и с воем отбрасывала пытавшихся перечить, идти навстречу. Ксения прятала лицо, отворачиваясь от колких льдинок вьюги, но это мало помогало. Вездесущие льдинки, не уставая, кружились вокруг бредущей по улицам нищенки. Останавливаться было нельзя, движение рождало хоть какое-то тепло, хоть какую-то надежду не замёрзнуть окончательно. Неожиданно рядом с Ксенией остановились сани, женщина в дорогом полушубке ловко спрыгнула на тротуар.

— Ты зовёшь себя Андреем Фёдоровичем? — строго спросила она Ксению.

— Да, я.

— Поедешь со мной, — почти приказала незнакомка и снова села в сани. — Садись же быстрее! Я тебя уже два часа по всей Петербургской стороне ищу. — Ксения не сдвинулась с места, и женщине пришлось объяснить. — Я Марфа, кума купчихи Натальи Николаевны Крапивиной. Знаешь такую?

Ксения кивнула, кто же на Петербургской стороне не знал богатую купчиху.

— Наталья Николаевна приказала привезти тебя к ней. Много о тебе ей рассказывали разного. Да поехали, наконец! Сможешь согреться, поешь, да и не скупая кума моя — денег даст. Садись быстрее, ты вон синяя, зубами стучишь, и я тут с тобой совсем окоченела.

— Хорошо, поеду, — Ксения села в сани, кума купчихи отодвинулась от неё подальше, покосившись на грязные лохмотья нищенки.

По парадной лестнице богатого трёхэтажного дома купцов Крапивиных кума быстро взбежала на второй этаж. Ксения поднималась медленно, застывшие от холода ноги её плохо слушались. Когда она вошла в залу, обставленную дорогой мебелью, кума Марфа уже разделась и села за стол с остальными гостями купчихи.

Во главе стола восседала сама Наталья Николаевна Крапивина, пухленькая, томная,

в шёлковом тёмно-зелёном платье, хорошо оттенявшем её белоснежную кожу. Украшения богатой купчихи стоили, наверное, целое состояние: массивные золотые перстни на каждом пальце, несколько дорогих ожерелий на шее, серьги с изумрудами.

Кроме купчихи за столом расположились ещё четыре женщины — кумушки и подруги. Наталья Николаевна царственным жестом показала рукой на пустой стул у стола и мягким грудным голосом пропела, приглашая Ксению.

— Садись...

— ... Андрей Фёдорович, — подсказала ей кума Марфа.

— Андрей Фёдорович, — повторила за Марфой купчиха.

Ксения осмотрелась, нашла иконы, перекрестилась, только после этого поклонилась хозяйке и села.

— Благодарю, матушка.

— Угощайся. Налейте ей чаю, — приказала купчиха самой молодой из кумушек.

Та подскочила, налила чашку чая, положила на блюдце кусок колотого сахара, а на дорогую фарфоровую тарелку — куски говядины, утки, колбасы, хлеба, солёный огурец, пирожок — всё это она поставила перед Ксенией.

Отпив немного горячего чая, Ксения съела кусочек утки и какое-то время рас-

сматривала блюда на столе: печёных уток и кур, колбасы, пирожки, сладости, многие из которых она раньше никогда не видела. Осмотрела и комнату вокруг — светлую, с большими окнами, с дорогой заморской мебелью на изогнутых ножках и шикарным, в золочёной раме зеркалом на полстены.

Царственная красавица Крапивина и её гости, в свою очередь, рассматривали Ксению: потрёпанную, грязную одежду мужа на ней, седые пряди волос, выбивавшиеся из-под картуза и свисавшие по щекам, большие печальные глаза, от синих кругов вокруг казавшиеся огромными. Взгляд этих удивительных глаз трудно было выдержать, купчиха не смогла долго в них смотреть; в конце концов Ксения, ничем не заинтересовавшись в комнате, всмотрелась в лицо хозяйки.

— Ты на улице живёшь? — когда Наталья Николаевна стала расспрашивать гостью, все заметили, что она почему-то волнуется, нет её обычной самоуверенности. — Правда, что дом свой ты подарила подруге?

— Правда.

— Наверное, очень ты любила мужа, — в голосе купчихи послышалось сочувствие, а может быть, немного и зависть.

— Андрей Фёдорович жив, — строго сказала Ксения.

— Хорошо, хорошо, — успокоила её купчиха, — жив, так жив.

— А правда, что ты ребёнка спасла, и теперь, когда приносят тебе болящих детей, стоит тебе приласкать младенца — тот выдоравливает? — не выдержала одна из кумушек постарше.

— Андрей Фёдорович любит детей, — покивала головой Ксения.

— А ещё лавочники на рынке говорят: стоит тебе взять что-нибудь в лавке, так весь товар вмиг расходуется, — вступила в разговор кума Марфа.

— Я не беру у того, кто покупателей обвешивает или бедных обижает, а добрый человек, он добротой богатеет. Худой же сам себя губит.

— Говорят, ты молиться любишь, и Господь твои молитвы слышит. Денег я тебе дам. Много дам. Помолись о семействе моём, о муже, о детях. Помяни сродников. И обо мне помолись, — купчиха взяла со стола кошелёк, показала его всем, потрясла им, зазвенели монеты. — Что ж ты не ешь? Ты гостя моя — угощайся.

Ксения взяла кусочек колбасы с хлебом, укусила один раз и вновь положила на тарелку.

— Прости, матушка, не могу, — она вновь обвела глазами комнату, стол, и, посмотрев на хозяйку, вдруг неожиданно для всех заплакала, слёзы одна за другой быстро побежали по щекам, падая в тарелку.

— Да что ты в самом деле, перестань, — растерялась и немного разозлилась Наталья Николаевна. — Не хочешь есть — ладно. Деньги-то возьми!

Ксения встала из-за стола.

— Нет, не возьму я денег.

— Что ж за доброту обижаешь ты меня напрасно. Хочешь сказать, что нечестно они нажиты. Мы бедных не обижаем, всегда помогали, и род наш никогда не обманывал тех, с кем торговал. Зачем же ославить нас хочешь на всю Петербургскую сторону? — лицо купчихи покраснело. — Возьми деньги, Христом Богом прошу!

— Не гневайся, матушка, прости... Не могу я взять у тебя деньги. Не знаешь, о чём просишь. Молись, не молись — поздно... — Ксения быстро вышла из гостиной.

— Марфа, возьми кошелёк, догони её и отдай, — приказала купчиха куме.

Марфа догнала Ксению на лестнице.

— Ну, у меня слов нет... От таких денег отказываешься! Бери, — на ходу сунула она в руку Ксении кошелёк, но та вновь не взяла его, и он упал, звякнув монетами при ударе о ступеньку.

Ксения на секунду остановилась, подняла на куму заплаканные глаза.

— Зелена крапива, да скоро завянет.

И столько было горя в этих несвязных, непонятных словах, что кума Марфа засты-

ла с раскрытым ртом, на время позабыв об уроненном кошельке, в оцепенении проводив глазами уходящую нищенку.

Через несколько дней зимняя оттепель принесла в город грязь, подтаявший снег серой кашей разлился по улицам, чавкал под колёсами телег. Люди и в сапогах с трудом пробирались по улицам Петербургской стороны. Однако Сытный рынок ожил, горожане старались сделать покупки до возвращения морозов и метелей, зная, что оттепели скоро придёт конец и снова на недели завьюжит, заморозит город безжалостная зима.

Ксения, как всегда, сидела на ступеньках хлебной лавки. Хозяин теперь каждый день здоровался с ней по утрам, улыбался как хорошей знакомой, угощал свежей булочкой или пряником, а днём иногда подходил просто поболтать. Торговцы из соседних лавок тоже подкармливали безобидную нищенку кто чем мог, давали ей копейки — «царя на коне» — на помин души.

— Здравствуй, Андрей Фёдорович! — здоровались многие, проходя мимо Ксении.

Сытный рынок шумел, проезжали телеги, люди шли чередой с корзинами, полными покупок, верещал кем-то купленный, потревоженный ото сна поросёнок, но Ксения, задумавшись, не замечала суеты вокруг. Не

заметила она и куму купчихи Крапивинной Марфу, неделю назад возившую её в гости к хозяйке. Марфа же решительно остановилась перед Ксенией и заговорила громко, с надрывом в голосе:

— Ты знала?! Да?! Ты знала, что она умрёт? Отвечай мне, — Марфа дёрнула Ксению за рукав, — чего молчишь?!

Ксения, очнувшись от своих мыслей, внимательно посмотрела на куму и покачала головой.

— Ни деньги, ни милостыня, ни молитвы — всё было уже поздно.

— Сумасшедшая! — Марфа закричала во весь голос. — Ты знала и не сказала!

— А хоть и знает человек... — вздохнув, Ксения поднялась на ноги.

— Да как же ты могла? — Марфа схватила её за плечи и начала трясти. — Она не должна была умереть. Дети же у неё. Молодая, здоровая, в три дня сторела, вчера схоронили. Ты знала, знала! Ненавижу! — кума заплакала, но не отпустила плечи Ксении. — Нужно было что-то делать! Ты — сумасшедшая кликуша!

На крики кумы из хлебной лавки выбежал хозяин, ни секунды не мешкая, он оторвал бьющуюся в истерике куму от Ксении.

— Не тронь её, дура!

— Да она же знала! Знала, что Наталья умрёт. Гнать надо эту сдвинутую из города!

Привлечённый скандалом, начал собираться народ: лавочники, торговцы с лотками, случайные прохожие и нищие, постоянно побирающиеся на рынке.

Кума продолжала кричать.

— Люди добрые, купчиха Крапивина умерла, вчера схоронили! А эта, — она показала пальцем на Ксению, — неделю назад сказала: «Зелена крапива, да скоро увянет», денег у купчихи не взяла, сказала, что поздно о ней молиться, и ревела белугой за столом, словно на поминках ... Откуда знать она могла?.. — со страхом, упавшим голосом прошептала кума и трижды перекрестилась.

Ксения ничего не отвечала, только тихо плакала.

Молодой торговец Петя, сняв лоток с шеи и отдав его товарищу, подошёл к Ксении, обнял её за плечи.

— Не плачь, Андрей Фёдорович. Не горюй. Глупая она баба. Ты права, Марфа, могла знать. Наш Андрей Фёдорович много чего знает и детей одной лаской лечит, и копейки свои другим нищим раздаёт, и будущее видит. Потому что в Боге живёт. Только от большой любви такое бывает. Не сумасшедшая она, Марфа, а блаженная. Блаженная!

— Петя, — Ксения подняла заплаканные, но сияющие глаза, — мальчик мой. Ты

возьми у меня вот эту копеечку, — отдала она ему монетку. — И не спорь со мной, бери. Ты скоро станешь богат, очень богат. Тебе не страшно, тебе можно. Душа у тебя так и останется доброй, а от богатства только много хорошего сделаешь для людей.

Слово «блаженная» пробежало по толпе от человека к человеку, отозвавшись на лицах людей испугом — знаком непонимания. Марфа, ничего не ответив Пете, поспешила уйти. Остальные люди потоптались ещё какое-то время в нерешительности и по одному тихо разошлись.

— Благодарю тебя, Андрей Фёдорович, — Петя поклонился Ксении, — а знаешь, я верю тебе, верю каждому слову. Трудно поверить, я ведь бедняк бедняком, только что не на улице живу. Но беру эту копейку и знаю — будет, как ты сказала!

— Богатство не главное, — продолжала Ксения, — главное, семья у тебя будет хорошая. Жена любящая и детки. В семье человек проживает свою жизнь. Самая большая удача для души, когда венчана она воедино любовью с другой душой. Ты знаешь, Петя, какое счастье — полюбить. То высший дар от Бога, испытать уже на земле любовь, как будто уже и неземную. Когда получишь этот дар, храни его....

За несколько лет костюм Андрея Фёдоровича на Ксении Григорьевне истлел от

осенних дождей, от зимних морозов, от летней жары. Пришлось Ксении Григорьевне переодеться в красную юбку и зелёную кофту из грубого сукна, а картуз заменить шерстяным платком.

Со временем не только на Петербургской стороне, но и в других районах столицы узнали о необычайной нищевке, целыми днями бродившей по городу. Теперь к ней на улице непрерывно подходили люди, здоровались, чем-то угощали, давали милостыню, просили благословить или о ком-то помолиться. Но, где бы Ксения ни появлялась в течение дня, она обязательно навещала одно место — могилу мужа на Смоленском кладбище.

Ксения ходила по городу, в котором больше не осталось для неё чужих людей. Город принадлежал теперь ей, словно действительно весь стал её домом. Она умывалась в Неве, спала на траве на любой лужайке, горожане кормили её своими подающими и больше не разрешали никому обижать своего Андрея Фёдоровича. Люди звали её в гости, она без стеснения привыкла навещать знакомых, которых становилось всё больше и больше.

Северный приморский город стал ей по-настоящему дорог именно теперь, когда она узнала его как никто другой. Для неё стали открыты страдания людей несчастных, бед-

ных и униженных, понятна тоска и печаль небедных. Раны города, его боль отдавали люди своей Ксении, её печали о каждом, её молитве о каждом. И щедрость, и душевность тоже были отданы ей, самая чёрствая душа не могла усомниться в чистоте блаженного Андрея Фёдоровича. Все знали, что милостыня через её руки тут же попадёт к самым обездоленным.

Ксения, войдя в ограду Смоленского кладбища, прежде чем навестить могилу мужа, подошла к рабочим, начинавшим строить церковь. Они закладывали фундамент, но, заметив Ксению, на минутку остановились.

— Здравствуй, Андрей Фёдорович!

— Здравствуйте, — поклонилась всей бригаде Ксения. — Старайтесь, ребяташки, — озабоченно заглянула она в котлован, — фундамент должен быть крепким. Большое испытание предстоит этой церкви, только вы не бойтесь — она выдержит. Многое тут вокруг рухнет, унесёт вода, а она устоит.

— Не волнуйся, Андрей Фёдорович, — переглянулись между собой рабочие, — мы всегда на совесть строим.

Плиту на родной могиле Ксения протёрла ладонью, по-хозяйски пройдясь пальцами по шероховатым высеченным на ней буквам

имени и датам рождения и смерти. Осмотрела траву, перьями отдельных травинок просшую вокруг плиты и креста, нарушавшие гладкость зелёного ковра стебельки вырвала. Только когда могила показалась ей в полном порядке, Ксения с ласковой улыбкой осмотрела её ещё раз и присела на траву рядом с крестом.

На кладбище, кроме Ксении, посетителей не было, никто не мог ей помешать, голоса рабочих со стройки к могиле Андрея Фёдоровича не долетали.

Теплый летний день согрело полуденное солнышко, тишину нарушали только птицы, но щебетом своим они не мешали кладбищенскому покою, а казались частью его. Птицы летали между могилами, склёвывали крошки, оставленные для них в поминание усопших. Люди верили, что птицы, улетающие в небо, уносят туда их память о мёртвых, что именно птицы хранят связь неба с землёй.

Когда на кладбище появились могильщики, готовые вырыть новую могилу (кто-то опять умер), Ксения поспешила уйти. Уходя, она тоже положила на могильную плиту мужа крошки для птиц, не замедливших воспользоваться угощением.

Ксения вышла из кладбищенских ворот и медленно пошла по улице. Она не замети-

ла, что от ворот за ней последовал человек в чёрном сюртуке. Близко он к Ксении не подходил, но и далеко не отставал. Когда она остановилась благословить двух детишек и говорила с их матерью, человек спрятался за угол дома. Стоило ей продолжить свой путь, он двинулся следом. Целый час человек в чёрном прогуливался вдоль домов в переулке, где Ксения обедала у знакомой купчихи. Он останавливался у каждого бедного дома, куда она заходила, чтобы отдать свои копейки. Однажды он чуть не налетел на Ксению, не заставшую кого-то дома и неожиданно вышедшую ему навстречу из тупика. Человек потоптался недолго в тупике и продолжил преследование. Целый день он ходил за нищей по Петербургской стороне, чуть не потеряв её в сутолоке Сытного рынка, а вечером вслед за Ксенией вошёл в церковь Святого апостола Матфея и отстоял службу, не спуская глаз с кладущей земные поклоны нищей. Наступила короткая летняя ночь, то ли ночь, то ли затянувшиеся сумерки, лишь на несколько часов подпустившие тьму к городу.

Человек в чёрном нервничал, он боялся в сумерках потерять нищую, думая, что она может свернуть в любой узкий переулок. Он боялся быть замеченным и не подходил слишком близко, но Ксения шла, не торопясь, по пустому, спящему городу, ни разу

не оглянувшись, и преследовавший её человек, осмелев, решил подойти поближе. Вслед за нищей он шёл очень долго, уже закончились городские кварталы и захудалые окраины бедного района, закончились и огороды, примыкавшие к последним хибарам. Дорога превратилась в петляющую в огородах тропинку, и наконец перед двумя путниками раскинулся широкий луг, поросший зелёной нетронутой травой. Ветер, освободившийся от мешавших ему свободе домов, восторженно носившийся между полями и ночным небом, набросился на ступивших на его территорию людей.

Присев у последнего огорода, человек рукой нервно пощипывал траву. Он не знал, что делать дальше. Ксения уже пересекла луг, ещё немного, и её уже не увидеть. Однако она и не думала уходить далеко в поле, а остановилась на ближайшем пригорке. Теперь человек видел только её силуэт на фоне потемневшего неба. Женщина опустилась на колени и приступила к молитве. Она крестилась и кланялась, потом поворачивалась на шаг и снова крестилась, кланялась....

Всю ночь Ксения молилась на все четыре стороны света. На пустынные улицы, на каждого спящего человека опускалась эта молитва, покрывая собой северный город в низине между водой и сушей. Город как дом

блаженной, горожане как сродники хранились её сердцем, её неусыпной ночной молитвой. Жилища, построенные на отвоёванной у моря земле, дворцы и дома, до последней бедной хибары, мосты, перекинутые через вены рек и каналов, между сорока островами, деревья и травы, и даже спящие люди — всё наполнилось молитвой и стало вдруг обладать душой.

Город по молитве вправду стал домом. Человек в чёрном вдруг ясно увидел, как женщина повернулась в нему и перекрестила его. И на рассвете, уставший, засыпающий, он не испугался того, что был замечен, а даже обрадовался благословиению.

Утром Ксения направилась назад в город, но на окраине, у одного бедного домика, заметила, что на огороде грядки с зеленью совсем заросли. Решила помочь — прополоть сорняки. Когда одна из грядок была прополота, силы всё же покинули Ксению, она легла прямо на тропинке между грядок и спокойно уснула.

Человек, целый день и ночь издали следивший за Ксенией, решил приблизиться к ней. Он остановился в нескольких шагах от спящей и долго рассматривал её. Но ничего не нашёл особенного в немолодом, покрытом морщинами лице, на которое свисали седые нечёсанные пряди волос, выбившиеся из-под платка. Человек в чёрном сюр-

туке, который и сам был уже далеко не молод, печально вздохнул и побрёл по ближайшему переулку домой.

Купец Пётр Иванович Панов вошёл в полицейский участок и, не обращая внимания на других посетителей, сидевших на лавках в широкой прихожей, решительно толкнул дверь кабинета начальника.

Толстый, краснолицый начальник участка быстро поднялся со стула и расплылся в кошачьей улыбке.

— Здравствуйте, Пётр Иванович. Какими судьбами к нам? Чем могу служить?

— Да уж, можете, — купец был так зол, что начал разговор стоя.

— Присаживайтесь, будьте любезны, — начальник продолжал подобострастно улыбаться.

— Я-то сяду, — Пётр Иванович быстро сел, продолжая сурово в упор смотреть на собеседника.

— Если проблемы какие, только скажите, всё решим, — выразил готовность полицейский.

— Ты скажи мне, Афанасий Семёнович, почему это твои люди следят за нашим Андреем Фёдоровичем? И не думай отпираться, уже несколько дней на Петербургской стороне видят, как твои соглядатаи ходят вослед нашей блаженной. Это для какой такой

надобности? Ты лучше со мной не шути! Мы её в обиду не дадим! — стукнул купец по столу кулаком.

— Пётр Иванович, дорогой, приказ у меня. Приказ государыни — убрать с улиц столицы всех нищих. А Ксения, при всём моём уважении, живёт непонятно где. А где спит? А где еду берёт? Если нищенствует, я, как ни крути, обязан убрать её из города. Знаю, что особое к ней у народа отношение, вот и не трогаем её... Только должен я, если что, отчёт иметь о её жизни.

— Отчёт? О её жизни?! Что тебе нужно внести в отчёт: как она мужа любимого потеряла, как имущество раздала бедным или как теперь продолжает людям помогать, хотя сама живёт на улице?

— Да кто ж спорит, женщина она праведная, вот и мои люди о ней только хорошее пишут, — полицейский улыбнулся, — один так прямо поэму написал.

— Ничего ты не понимаешь, Афанасий Семёнович. Здесь другими мерками мерить надо. Не нашей жизнью, не твоими приказами. Поэму, говоришь? Вишь, даже твой соглядатай душу её почувствовал. Пройдёт наша жизнь — будто и не было её, нас и не вспомнит никто....

— Тебя-то вспомнят, Пётр Иванович, ты вот церкви и богадельни строишь на свои деньги.

— Нет, не вспомнят, — покачал седеющей головой купец. — Ксению же Григорьевну будут помнить обязательно, пока стоит этот город. Церкви, богадельни — говоришь ты, да, только всё равно это камни. Как тело живо душой, так камни города от Божьей милости смысл начинают иметь. Душа она этого города — Ксения. И мою жизнь на Сытном рынке она предсказала, словно предрешила. Ты не понимаешь, на кого хочешь поднять руку.

— Да Бог с тобой, Пётр Иванович, пусть себе живёт. Не тронем мы её.

— Что угодно у меня за покой её проси, всё тебе дам. Только никакой обиды ей не допущу, ты так и знай. Все деньги мои, всю власть употреблю, если нужно будет!

— Да что ты, что ты, — испугался полицейский, — обещаю, не тронем мы её. Что ж я не понимаю, не только ты, вся Петербургская сторона заволнуется, если тронуть блаженную. Мне беспорядки не нужны, пусть себе живёт. Одна нищая на улицах погоды не делает. А что, правда, она тебе будущее предсказала?

— Правда. Всё, как есть... И знаешь, Афанасий Семёнович, много думал я об этом, и стало мне казаться: жизнь, что не прожила сама, она по кусочкам другим раздаёт. Вот и я, словно за неё жизнь живу, ею мне подаренную. И страшно мне иногда от этого, и

радостно, и боюсь, что, не дай Бог, вдруг не так доживу дарованное мне её счастье. И люблю её за этот дар так — до боли сердечной, и ничем, ну совсем ничем не могу отплатить ей. Ничего во мне нет такого, особенного... А ты говоришь — церкви да богадельни... Ладно, прощай, пойду я. А ты помни, Афанасий Семёнович, что обещал мне. Обманешь, не дай тебе Бог, с живого не слезу!

Глубокой ночью на Смоленском кладбище стоит удивительная тишина. Освещённые светом луны и звёздными россыпями недостроенные стены новой церкви уже высоко поднимаются над землёй.

По строительным лесам, оплетающим растущие стены, Ксения шаг за шагом поднимается до самого верхнего настила, склоняясь под тяжестью сумки за плечами. Прозрачны лунные тени от досок и балок. Покачиваются под ногами доски, на высоте ветер и ощущение бездны, которая совсем рядом — в шаге от непрочной дорожки. Ночь длинная, камень за камнем носит Ксения в сумке снизу вверх. Придут утром каменщики, смогут сразу начинать работу. Удивятся, обрадуются: «Спасибо неизвестному помощнику!»

Поднимается всё выше и выше блаженная Ксения, в который раз преодолевает

опасный путь по дорожкам из досок от земли ближе к небу, склоняются слабые женские плечи под тяжестью камней.

— Вот так, ещё немного, — приговаривает она сама себе, — всё ж быстрее построят... Ещё одним храмом станет в городе больше. Будут люди поминать усопших, будут чаще молиться друг о друге, будут жить праведнее, станет больше в мире Любви.... Быстрее, быстрее нужно строить храм.

Пустынник

Муромские леса.
Начало сентября 1804 года.

Монах вышел из сеней лесной пустыньки-избушки и остановился на крыльце. Начинаясь день, сентябрьское солнце согревало теплом, не палило, умерив знойную ярость, с которой сияло и жгло летними днями. Лес, подступавший к частоколу вокруг грядок у избушки, притих, нашумевшись ночью с порывами ветра. Васильковое небо ложилось на кроны огромных елей и сосен, смыкавшихся в зелёный купол, вторивший полусфере небосвода. Лесной ладан, благоухание природных кадил — гигантских корабельных сосен, наполнил ароматом хвои поднебесный храм природы.

Лес наполнялся пением птиц. Пичужки стрекотали, попискивали, без боязни садились на берёзку у крыльца, окрестности заливали звуки птичьих напевов, уносилась в поднебесье светлая, радостная музыка летучего хора.

Нерукотворный храм был прекрасен, величествен, совершенен, монах низко поклонился, перекрестился, поклонился вновь и сказал:

— Господе, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Он повторил много раз крестные знамения, поклоны и молитву и только после этого, сойдя с крыльца, пошёл по уже подсохшей от утренней росы траве.

Верхушки корабельных сосен высоко над землёй смыкались так, что не было видно ни неба, ни солнца, здесь почти не пели птицы, тень дремучего бора лелеяла свою тишину и прохладу. Монах надел холщовую сумку на спину, поплотнее натянул суконную шапку-камилавку, поправил большой медный крест, висевший поверх одежды — белого подпоясанного балахона, и, опираясь на палку, неторопливо пошёл вниз с поросшего лесом холма к реке.

По мягкой подстилке хвои лапти ступали легко, но быстро идти было трудно: минувшей зимой, когда инок возвращался в вос-

кресенье после литургии из монастыря, сонна, брошенная порывом страшной бури, упав, ударила его по спине. Еле живой приполз он в свою лесную келью, отлёживался несколько дней, выздоровел, но сутулость осталась, выпрямиться больше не смог и ходил теперь только с палочкой. Тогда же в желтоватых его волосах появилась седина.

Недалеко от реки монах остановился; на поляне лежала берёза, ночной ветер, оказывается, не был безобидным. Ещё вчера берёза одна стояла здесь среди сосен и вот теперь разлеглась, вырванная с корнем. Сейчас она медленно умирала, из вывороченной глыбы земли свисали тонкие нити витых корешков, торчали несколько толстых порвавшихся корней, от них уходили вниз дыры, пещерки в раздробленной, изуродованной земле. Трава, что росла под деревом, ещё не знала о его смерти, она продолжала как ни в чём не бывало зеленеть вокруг упавшего ствола; да и листья самой берёзы, зелёные, блестящие, совсем немного потеряли свежесть, лишь чуть привяли.

Величественная крона, обычно недоступная рукам человека, сейчас лежала, распластавшись на земле, и монах погладил тонкие, у самой верхушки, юные веточки, ещё не успевшие потерять шёлковую нежность и незапятнанную белизну молодой бересты. Хрупкая прозрачная кожица отслаивалась

под его пальцами, обнажая скользкие побеги, пустынный гладил умирающую берёзу, уже не видя её. Молитва, полная слёз и покаяния, наполнила его душу, поднялась над берёзой, над бором. «Помилуй, Господи, помилуй мя, грешного, молитвами Богородицы помилуй».

В молитве время теряло власть над человеком, душа сливалась с вековым бытием леса, растворяясь в нём, милость Божественной благодати давала безмерный покой. Совершенная радость расцвела улыбкой на лице монаха, озарила его светло-голубые, детской чистоты глаза. Неизвестно, сколько прошло минут. Пустынный поднялся с колен, не помня, когда преклонил их, забывшись в глубине молитвы, и продолжил путь.

Река бесшумно, ласково лизала прозрачными водами песчаные свои берега, лес совсем немного уступал ей земли, узкие полосы песчаных пляжей, и сразу начинались трава, деревья, кусты. Но река старалась отвоевать часть берега, подмывая его, местами совсем близко подбираясь к деревьям. Монах остановился у нескольких камней, преграждавших путь разрушительной силе воды, снял сумку со спины, присел на камень. Набирая пригоршни, омыл лицо, выпил несколько ладоней сладкой, кристально прозрачной холодной воды.

В зеркале неспешно текущего потока отражались прибрежные деревья и кусты, на круче подмытого берега извивались, оказавшиеся на воле, в воздухе, шершавые корни. Солнце пускало по воде зайчики-блестяшки, река повторяла голубизну неба, отражая своим чистейшим зеркалом его синеву, и казалась упавшей полоской небосвода.

В кожаном переплёте Евангелие достал пустынный из своей сумки, открыл его и прочитал о прозрачных водах Иордана. О реке чистой и прекрасной, в которую вступали люди, ведомые Иоанном Крестителем. Они входили в воду, оставляя грехи прежней жизни, смывали их в чистых струях молитвами Иоанна. И приближалось Царство Небесное, и пламенная мольба пророка давала людям перерождение от Духа, от Бога.

И опускает руки Иоанн в воду и крестит, крестит бесконечную череду людей, идущих к нему. И ждёт Сына Божия, у которого недостойн развязать ремень обуви.

И радуется монах прозрачности протекающей мимо воды, видя в чистоте её возможность спасения. Душа Иоанна Крестителя и у этой реки, называемой монахом тоже Иорданом, неусыпно ждёт всех возжелавших Царствия Небесного, ждёт и его, приходящего сюда молиться пустытника.

И вот грядёт, грядёт, свершилось — Сын Человеческий входит в воды лесного Иорда-

на, приблизилось спасение, белый голубь сел Ему на плечо. И падает ниц мир, Невинный берёт на себя его грехи. Агнец Божий, что был прежде всего, начинает служение Своё. И крестит Иоанн прозрачной, чистой водой лесной реки Спасителя, вновь и вновь, многие века смывает с Невинного чужие грехи.

Бежит, блестит река, печальный монах омыл в ней лицо, и слёзы или вода стекли по его глазам и щекам. Закрыв он Евангелие и долго сидел на берегу своего Иордана.

Взяв посох, сумку и Священное Писание, поднялся инок на высокий холм над рекой. Насколько могли видеть глаза, окрестности заливала зелень лесов, тёмно-голубая полоса реки поворачивала, протискиваясь между двух холмов, и, разлившись в низине, вновь сжималась, исчезая за дальними холмами.

На пне лежало Евангелие. Нагорная проповедь звучала в лесу, негромко читал монах, окрестный мир слушал его, благоговейно впитывая великие слова, предсказывающие блаженства Духа, и бескрайние муромские леса, и разлив реки, и само светлое небо с сияющим солнцем.

И стали блаженны все жаждущие, обиженные, страдающие, кроткие. И воздалось всем лучшим, добрейшим, милосердным. Мир стал прекрасен, наконец-то справедлив, достойные получили свою награду. Ра-

довались избранные, соль земли. Спаситель говорил, что так будет, и не могло случиться иначе. И восхищённо внимали Ему ученики, сохраняя в памяти сокровенные мысли Его, и монах, произнося каждое слово, наполнял его верой своего сердца.

Всепрощение доброты, желание отдать последнее ближнему, простить ему зло — как совершенен мог быть человек. Как прекрасен и безгрешен мог быть каждый слушающий Нагорную проповедь внутри своей души, так звучала она, читаемая монахом. Его сильный, низкий голос почти пел прекрасные слова, заповеди блаженства будущего мира, здесь, на горе, над рекой Саровкой, где каждый день читал он, пустынный, Евангелие.

Монах пошёл вглубь леса, удаляясь от реки, деревья росли всё ближе и ближе друг к другу, совсем вплотную, так что стало трудно пробираться между ними. Он спустился в низину между двумя холмами, в сердцевину лесной чащи.

Сырость дебрей леса, мох и плесень, полутьма — тайна искушения, слабость плоти человеческой, гора Елеонская пустытника. На коленях перед Господом, мучающимся: нельзя ли, чтобы чаша страшная миновала Его.

Молитва становится жарче, пот превращается в кровь. Капли багровой крови каплют на мох, на траву, надрывая сердце читающему Евангелие пустыннику. Не заснуть, не

заснуть душой, как уснули ученики Его, от усталости, от печали! Слаб человек, помилуй Боже, укрепи, помоги в момент выбора. У кого самого хватит сил принять свою чашу, свой крест.

Пронеси, Господи, чашу пронеси — но Твоя воля, не наша! Дай силы, Господи, помолись, Богородица. Где слёзы монаха, где пот кровавый Христа, только круги от капель в поднесённую чашу.

С открытым Евангелием поднялся монах по склону небольшого, поросшего кустарником пригорка на поляну с пожелтевшей травой, засыхающей среди неведомо откуда взявшихся здесь камней. Камень, нагретый солнцем, горячий, жгучий, принял на себя открытую книгу. Здесь читает пустынный о распятии Спасителя, место это назвал он Голгофой.

Поднимается над камнями крест в душную жару полдня потерявшего милосердие солнца. Не было сил поднять взгляд и увидеть глаза истязаемого Сына Человеческого, боль в них от принятой добровольно муки, ран страдающего тела, гвоздями прибитых к кресту рук и ног.

Не оставляй нас, Боже!

Не оставляй! Почему Ты нас оставляешь?! Твоя воля, но больно как. Умирает, снова умирает невинный Спаситель, и плачет монах, каплют слёзы на Евангелие, наполняя

глаза, мешают видеть слова. И стоит Богородица у креста Сына, невозможно смотреть в Её лицо, разрывается сердце. Навсегда самое страшное, что может быть для матери, — пережить страдание и смерть любимого сына.

Темнеет в глазах, стало темно на земле, смеются распятые разбойники, издеваются проходящие мимо, делят Его одежду воины, охраняющие кресты. Терновый венец на голове — ответ людей на Его любовь. Разрывается завеса храма, умирает Господь, зовёт Отца в последнем крике. Лежит на земле монах у истерзанного тела Сына Человеческого.

Боли и скорби полна дорога монаха к разливу реки Саровки. Умыл он в ней своё лицо, в месте своего моря Тивериадского.

Ученики Спасителя сидят на берегу, читает в Евангелии пустынный, едят рыбу у костра и — счастье миру! — воскресший Иисус с ними. И значит, не было смерти: Он её победил, свет вернулся, радость пришла в мир.

Иисус воскрес!

На берегу, у ласково плещущейся в камышах волны ужинает в тишине Господь с учениками, потрескивает костёр, пахнет жареной рыбой, успокаивается душа, в мире порядок.

Поднимается пустынный на самый высокий холм — посмотреть на окрестные леса, на небо и речку и завершить евангельскую молитву души своей.

Посылает Господь учеников своих крестить мир, проповедовать, страдать и любить. Теперь Он с ними навсегда, с каждым. С каждым, кто поверит в Него, в Спасителя мира. И в то, что Бог есть любовь, победившая смерть. Благословляет Господь учеников и возносится к Отцу. И смотрит пустынный в сияющее над ним небо, залитое солнечным светом, радуется и поёт душа его. Христос воскрес!

Молится монах о своей земле православной, раскинувшейся на бескрайних равнинах и холмах, о народе её страдающем, просит у Бога для него веры.

Долго стоял монах, подняв руки к небу в неведомой высоте молитвы, и не посмел пришедший из обители Саровской молодой послушник прервать его уединение. Чтобы не помешать пустыннику, послушник тихо удалился, решив в другой раз прийти за наставлениями духовными.

День уже клонился к вечеру, когда пустынный направился в свою избушку. Так легко и весело было у него на душе, что он начал петь Всемирную славу в честь Богородицы. Голос вольно разлетался между стволами деревьев, поднимаясь к кронам. Лес наполнился величальной, вдохновенной песенной молитвой, разносившейся эхом, вторившим человеку.

Монах поставил варить похлёбку из овощей, к картошке, свёкле и луку прибавил в

горшочек грибов, а сам на грядках сорняки прополол; земля подсохла, решил с утра полить свой огородик.

Поев, пустынный взял несколько кусков хлеба в короб, вышел за частокол к ближайшему лесу, присел на колоду и стал крошить хлеб на ладонь. В момент ближайший куст как будто ожил, птицы, сидевшие на нём заволновались, ожидая ежедневного угощения. Монах протянул к ним руку, сначала несколько самых смелых пичужек, схватив по крошке, мгновенно исчезли в кустах, но тут же нашлась ещё парочка, отважившихся приблизиться к человеку; через минуту уже целая стайка птиц, не улетаая, кружилась у ладони, усаживалась на руки, плечи и даже голову пустынного, радовавшегося весёлой суете вокруг.

Куст наклонился к земле, затрещала под тяжестью навалившейся на неё лапы маленькая ёлочка — перед монахом остановился медведь. Птицы разлетелись в разные стороны.

— Пришёл, хороший, хороший, радость моя, — монах погладил шерстяную морду зверя. — За хлебцем пришёл? Да? — Потрепал шкуру на спине. — Держи угощение.

Медведь аккуратно взял ртом из протянутой руки кусок хлеба. Быстро съел его и уставился на пустынного, ожидая ещё.

Запахавшаяся монашка, быстро шедшая от избышки, поклонилась пустынному и, улыбнувшись, собралась уже что-то сказать, но, увидев медведя, сначала обмерла, потом упала на землю с криком:

— Батюшка, смерть моя пришла! Медведь!

— Не смерть, — засмеялся монах, — а радость! Иди, иди, — подтолкнул он медведя, — вишь, испугал мою сестричку.

Медведь послушно ушёл.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, — произнесла сестра монастырское приветствие, ещё со страхом поглядывая на кусты, в которых скрылся медведь.

— Аминь. Радость моя, Матрёнушка, — перехватив взгляд монашки, улыбнулся пустынный, поднялся, поцеловал её в щёку, взяв руки её, поцеловал и их, — присядь. Устала? Водички? Может, хлебца хочешь?

— Нет, батюшка Серафим, сыта я и водички попила по дороге, у твоего ручья. Со скучили сёстры о тебе, привет передавали, низкий поклон.

Монашка поклонилась, поправила сбившийся платок и села на траву.

— Я ненадолго, батюшка.

— Путь у тебя был далёкий, — пустынный тоже сел. — Назад будет идти труднее, ночь может застигнуть в дороге, не безопас-

но в муромских лесах. Может, погостишь у меня, а утром пойдёшь?

— Нет, нельзя, батюшка, монахи саровские следят, когда приходим мы к тебе, дурное думают. От тебя шли прошлый раз — мешки проверяли. Злятся, что не им, а нам отдаёшь со своего огорода, из пчельника; ягод лесных, и тех им жалко.

— Матрёнушка, Матрёнушка, о человеческом думают, не о Божьем, — потускнели голубые глаза пустытника. — Как трудно, сестричка, найти среди людей человека. Ничего труднее нет. А медку я вам снова припас, сироткам моим дивеевским.... Что-то ещё лежит у тебя на душе, с тяжестью сердечной пришла ко мне. Говори.

— Батюшка, строга больно старшая наша. Сёстры, особенно младшие, недоедают, хлеб друг другу передают. Оголодают, боюсь.

Пустытник поднялся и молча несколько раз прошёлся по поляне.

— Матушке основательнице Александре, духовному отцу моему Иосифу и игумену Пахомию обещал я окормлять и беречь дивеевских сестёр. Богородице давал слово. Мать Божья выбрала себе в Дивеево четвёртый удел на земле. Её молитвами хранятся мои сиротки.... Да кусочек хлебца не грех и под подушку положить, чтоб тоска миновала. Матрёнушка, помоги сироткам — и спасёшься. Накорми, возьми на душу

свою. Дай хлеба сестричкам. Ведь я же наследством матушки Александры, милостью благодетелей, своими слабыми силами окормляю вас, стараюсь, чтоб нужды ни в чём не испытывали. Хлеб-то есть. А я буду молиться Небесной Игуменье нашей, чтоб надоумила меня, убогого Серафима, как ещё помочь сироткам. Верь мне, Матрёнушка, будет у вас монастырь великий. Ничего, что сейчас вас мало, бедны вы очень, обижают вас; всё минет, в красоте и славе расцветёт прекрасная ваша обитель. Я, убогий, всегда буду молить Бога и Мать Его, чтоб не оставили они сирот моих. И никто не помешает нам — ни враг человеческий, ни люди. Никогда женской лавры не было, а у нас будет. А сейчас всё претерпим вместе, — пустытник снова опустил на колоду.

— Батюшка Серафим, — монашка поцеловала его руку, — как любим мы тебя, а всё мало.

— Не меня благодари — Богородицу. Я слаб, как каждый человек, сестричка. Но помолюсь, и даст мне Бог силы. Гоню уныние молитвой, приходит радость, свет. Вы радости мои, забота о вас — счастье душевное, — погладил по голове пустытник Матрёну. — В воскресенье буду в монастыре Саровском, приходите, сестрички, ко мне туда, в келью, пусть и старшая приходит, скажи ей.

Из кустов показалась голова медведя.

— Иди уж, иди к нам, — позвал его батюшка Серафим. — Ты покорми его хлебом, — предложил он монахине.

— Да он и руку у меня отъест, — испугалась она.

— Не отъест, попробуй.

Матрёна взяла кусок хлеба из короба и осторожно протянула медведю, он взял и отступил подальше, будто понимая, что она боится. Тогда она дала ему ещё, уже смелее. Так скормила все куски, что были, до последнего. В конце, уже улыбаясь, повторяла:

— Батюшка Серафим, какой он смиренный у тебя, словно не медведь, не лесной.

Пустынник смотрел на сестричку, радующуюся медведю, и глаза его снова стали ясными, лучезарными, небесной голубизны и чистоты.

Ушла монашка с лучком, свеколкой, картошечкой да маленьким бочонком мёда — гостинцами для сестёр от батюшки Серафима, а он, взяв топор и верёвку, засобирался за хворостом. Сумку с Евангелием надел на спину, потому никогда без неё не уходил из избушки.

Далеко идти не пришлось, давно упавшее, совсем засохшее дерево, всё в ломких сучьях, легко поддавалось топору. Нарубив большую охапку хвороста, связав её верёвкой, пустынник собрался взвалить её себе

на спину, но увидел быстро идущего к нему крестьянина.

Ничего необычного в этом не было, крестьяне часто приходили к батюшке за советом, излить душу, с просьбой помолиться о ком-нибудь. Пустынник улыбнулся, шагнул навстречу гостю и собрался приветствовать его, как увидел правее первого крестьянина ещё одного. Сзади захрустели ветки, из-за деревьев появился ещё один человек. В руках у всех троих были палки, от близко подошедшего первого крестьянина пахло водкой.

Первый мужик оперся на свою палку, здоровенную дубину, высокий, плотный, в пёстром кафтане, поверх цветных рубахи и портков, в сапогах, в высокой шапке; окладистая черная борода, карие глаза, серьга блестела в ухе, голова брита наголо. Он слегка покачался, опираясь на дубину, сплюнул, прищурил глаза.

— Снимай сумку, монах. Деньги с собой носишь или прячешь где?

— Нет у меня денег, — склонил голову пустынник.

— Да что ты с ним разговариваешь, Паук, он тебе наврёт, — встрял в разговор, из-за спины пустынника, маленький мужичонка с клочьями растущей бородой, в затрапезных рубахе и портках, без шапки, в старых лаптях.

— Не встречай, Кобяк! — гаркнул на него Паук так, что третий, и без того молчавший молодой высокий парень, бедно одетый, как и Кобяк, сделал два шага назад.

— К тебе мирские ходят и приносят деньги, поделись, — ухмыльнулся Паук пустынно-нику.

— Я ничего ни у кого не беру.

— Врёшь! — опять не выдержал Кобяк.

В руках пустытника оставался топор, и силы хватало; хоть немолод был монах Серафим, мог он справиться и с Пауком, и с другими двумя; может, молчавший третий крестьянин и сам бы убежал, завяжись драка. Но душа не позволяла батюшке Серафиму поднять руку на людей, не мог он, молившийся за весь свет, ударить человека, помня, что, по слову Иисусову, поднявший меч от меча погибнет. Не мог он поступить иначе, как смириться. Пустытник наклонился, положил перед Пауком топор, сделал несколько шагов в сторону, сложил крестом руки на груди.

— Делайте что вам надобно.

В этот момент Кобяк побежал к топору, но споткнулся о корень дерева и растянулся на земле, проехав лицом по грязной хвое. От неловкости своей он пришёл в ярость, прыжком поднялся, схватил топор и, не раздумывая, обухом его ударил безоружного пустытника по голове.

Кровь хлынула из раны, полилась изо рта и носа раненого, заливая лицо и белый балахон с медным крестом. От вида крови троица озверела, упавшее тело сразу потерявшего сознание пустытника били в иступлении ногами, не разбирая, куда попадали удары; нечеловеческая, тупая ярость переполняла их так, что у Паука белки глаз стали красными. Издевались над несопротивлявшимся человеком, ощущая силу, власть, как им казалось, возвышаясь над слабым монахом. Ни одна мысль, ни одна истина, что в церкви внушали им с детства, не вразумила их. Наконец самый молодой из троицы остановился.

— Паук, стой, Паук. Он, кажется, не дышит, — остановил он и товарищей.

— Утопим его в реке, и концы в воду, — тяжело дыша, с трудом успокаиваясь, предложил Кобяк.

— Не спеши. Вдруг очухается, схованку покажет, — рассудительно не согласился с ним Паук.

Он, порывшись в сумке пустытника, выбросил из неё Евангелие и несколько камней, больше ничего в ней не было.

— Шестак, — обратился он к младшему, — сними верёвку с хвороста, разрежь её и свяжи монаху руки и ноги.

Пока Шестак возился, связывая пустытника, Паук командовал дальше:

— Вы его возьмёте за ноги, потащим к избушке. Кобяк, ты говорил, дорогу знаешь. Потащили!

Крестьяне волокли по лесу, не разбирая дороги, почти бездыханное тело, кровавые ступки оставались на мягкой хвойной подстилке, на коричневых еловых и сосновых шишках, на пожелтевшей траве; невинной, чистой своей кровью освящал пустынный муромские леса и саму православную землю, за которую столько молился. Кровь запекалась, породнив навсегда светлого молитвенника и тех, кто будет припадать к нему, — верующих в Бога людей его земли.

Пустынника бросили в сенях избушки, он всё ещё не приходил в сознание, а троица принялась обыскивать его жилище. Только оказалось, искать-то негде в маленькой комнатке-келье: печь, стол, скамья, табурет. На двух полках посуды немного: две чаши, три ложки, кувшинчик, стопы, хлебница — всё деревянное, простенькое. Нашли два полотенца, монашескую полумантию, рукавицы, чётки. В печи горшок с остатками вареных овощей.

— Паук, иди сюда, — вдруг радостно закричал Кобяк, — смотри, схованка!

За печью оказалась маленькая дверь, Паук еле протиснулся в крохотную каморку, где перед образом Богородицы горела лампадка. Паук поймал себя на мысли, что чуть

не перекрестился по привычке, но тем решительнее он снял со стены икону, заглянул за неё — денег не было. Перетряхнул книги на столике, подумал, что никогда столько книг не видел. Обшарил углы, оставался только ящик с песком и камнями. Его он вытащил в комнату, высыпал на пол содержимое. В ящичке оказался обычный речной песок вперемешку с камнями.

— И зачем понадобились ему эти камни? — удивился Кобяк.

— Молился на них должно быть, — Шестак невольно перекрестился.

— Да перестань ты, — разозлился на него Паук, — давайте деньги искать!

— А может, их у него нет. Может, он правду сказал, — побледнел Шестак.

— Прекрати ныть, в печи искать надо, — выдал Кобяк пришедшую ему в голову мысль.

Сначала разломали печь, потом в погребке искали, но там оказалось только несколько картошин. Стали доски половые отрывать, топором поддевали, весь пол подняли.

— Ничего у него нет, — заключил Паук, и побледнел, когда после его слов над избушкой раздался шум крыльев, будто стая гигантских птиц кружила над крышей, чувствуя беду, билась об неё, словно их гнездо, а не жилище бедного пустытника разорили лихие люди.

Не стовариваясь, крестьяне выскочили во двор, но никаких птиц над избушкой не было.

— Убили праведника, — Шестак весь затрясся от страха, упал на колени. Двое других подхватили его под руки и насильно поволокли прочь от избы пустынника...

В предрасветный час очнулся батюшка Серафим, сел, опершись о стену; болели ушибы по всему телу, ныли связанные руки и ноги; особенно мучила жажда, но даже слотнуть слюну он не мог: распухли дёсны, несколько зубов было выбито, пересохли потрескавшиеся губы.

«Господи, помилуй мя, грешного. Господи, помилуй мя, молитвами Богородицы».

Голова болела так, что невозможно было открыть глаза, каждый вздох давался трудно, со свистом сжимала опоясывающая боль рёбер.

Батюшка попытался освободить руки, но смог пошевелить только правой рукой, левая, наверное, была сломана. Он двигал правой рукой в разные стороны, сильно натягивая верёвку, пока она не ослабла. Из щелей вокруг двери стал пробиваться нежный свет поднимающегося солнца; последнее усилие, и руки удалось освободить, левая повисла, вызывая страшную боль. Теперь нужно было распутать ноги.

Прошло немало времени, прежде чем все верёвки оказались развязаны...

Батюшка Серафим толкнул дверь и выполз из сеней на крыльцо, сел на ступеньках. Недавно взошедшее солнце ласково освещало голубое высокое небо, зелень могучего леса. Благоуханный сосновый аромат наполнял прохладный рассветный воздух. Посиневшей от побоев рукой батюшка с трудом перекрестился, очистил медный крест на груди, стёр с него кровь и прилипший сор. Мысли путались, кружилась голова, но батюшка начал молиться Господу, Богородице, Святому Духу, как начинал день уже много лет. Потом он сполз с крыльца и попытался стать на колени, чуть не упал, но удержался, согнувшись, опёрся о молодую берёзку, которую сам тут посадил.

Он молился, стоя на коленях, о крестьянах, что напали на него. Только б не наказывал их Бог, не карал за слабоумие; не ведали они, что творили. Мир, враг человеческий цепко держат людей. Нет света в их душах, подай им Господи. Твоя воля, но пошли им прозрение. Ради Христа, прости их грех.

Пламенно молился пустынник, вымаливая разбойникам прощение, пока не обессилел и не потерял сознание.

Когда он очнулся, солнце стояло уже высоко, батюшка поднялся, держась за берёзку, и, покачиваясь, медленно побрёл к

реке, решив вдоль неё идти к монастырю. Оказавшись у реки, он рассмотрел своё лицо в отражении её чистой воды, ужаснувшись ранам; попить не смог, хоть очень хотелось, только смочил лицо и губы.

Каждый шаг давался с невыносимой болью, он переходил от ствола к стволу, часто останавливаясь, собираясь с силами. Сосны, ели, берёзы поддерживали его, давали опору, тень, он так был благодарен их шершавым телам, которые обнимал.

Нельзя было упасть, остановиться, сдаться, Господь и Богородица не приняли бы этого. Он давал слово матушке Александре, отцам Пахомию и Иосифу, самой Пресвятой Деве; Дивеевская обитель на его совести, его ответ — сиротки, чада духовные. Не было права умереть, не передав заботу о них достойному человеку. Не успел он отстроить обитель, не возвели ещё храмов, не прокопали канавку, по которой прошла сама Пречистая Богородица, обойдя вокруг место избранного для себя в Дивееве удела на земле.

Мама, его родная мама, чей медный крест благословением висел на его шее, как заботилась она о сиротках девочках, как учила его добродетели и любви к ближнему. Дивеевские сиротки — его крест. Нельзя было сдаться, и батюшка шёл, падая, поднимаясь, где полз, где, обнимая ствол дерева, отдыхал недолго, пять вёрст шёл, повторяя:

— Господи, помилуй мя, грешного.

Батюшка Серафим пришёл в монастырь во время обедни, вошёл в храм, остановился в притворе. Вид его испугал братьев: волосы и борода в сгустках засохшей крови, синее от побоев лицо распухло, глаз не рассмотреть, левая рука висела без движения вдоль тела, грязный балахон, разорванный во многих местах, весь залит кровью. Батюшка молчал, не имея сил отвечать на вопросы монахов: что, дескать, случилось?

В храме, залитом мерцающим огнём множества свечей, взгляды прекрасных ликов иконостаса в убранстве роскошных окладов согревали небесной заботой о земном. Монастырский хор монотонным, суровым пением славил Воинство небесное. Единая молитва, сильная крепостью веры, наполняла храм. Мужские низкие, строгие голоса звучали в бесконечной печали о мире, в надежде о Царстве небесном, о сладости Святого Духа, жаждающая спасения, взывали к горнему миру.

Внутренняя молитва батюшки Серафима слилась с храмовой молитвой братии. Только когда закончилась литургия, он, пошатываясь, не заговорив ни с кем, ушёл в свою келью.

Братья побежали к настоятелю, тот немедленно направился к отцу Серафиму и пробыл в его келье несколько часов.

Вечером в дверь кельи отца настоятеля постучал казначей, отец Нифонт.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

— Аминь, — прозвучало в ответ как приглашение войти.

Печальный отец Исаия молился. Перекрестившись, он с трудом поднялся с колен — сказывались годы, настоятель был глубоким старцем, сухоньким, седым, сторбленным.

Отец Нифонт перекрестился на иконы.

— Как там отец Серафим?

— Плох, — вздохнул старец, — в больничный корпус перенесли. Боюсь, не выживет. Я думаю, в Арзамас за врачами послать. Напали на него разбойники, трое крестьян, деньги у него искали.

— Отец Исаия, нужно розыск объявить, чтоб наказали их примерно.

— Оно так, только Серафим просит не делать этого.

— Да как же не делать! — лицо казначея, и без того всегда хмурое, стало совсем суровым. — Не один отец Серафим в пустыне подвизается, других вокруг него пустыльников много, не зря же он называет свой холм Афоном. Не проучи крестьян как следует — повадятся, будут ещё монахов бить, денег требовать.

— Хорошо, брат Нифонт, попросим о розыске.

— Сейчас бы, отец Исаия, попросить и об охране, самое время, мирские власти не откажут, нам бы солдат и пару пушек.

— Брат Нифонт, не излишне ли ты заботишься?

— Нет, не излишне, отец настоятель, братии защита нужна. Разбойников в муромских лесах много, к монастырю они давно присматриваются.

— Добро. Подумаю я, помолюсь.

Казначей поклонился в ответ, но и в поклонах его огромная фигура не уменьшалась, с трудом он помещался в келье старца. Брат Нифонт помешкал, уходить — не уходить, но всё же спросил:

— Отец-то Серафим в монастыре останется теперь? Или как?

— Нифонт, Нифонт, даст Бог, выздоровеет он, уж как я люблю Серафима, сына моего духовного. Как смирен он, боль сильную терпит достойно, а ведь живого места на нём нет, — на глаза старца навернулись слёзы.

— Дай Бог, дай Бог, — повторил казначей, — только братия спрашивает у меня. Многие послушники любят отца Серафима, за советами духовными ходят к нему. Большая польза была бы от него в монастыре. Миряне со всей округи и даже издалека едут к нему. Монастырю слава. Да и хозяйство поднимается, промысел разный. Много трудов. А отец Серафим ещё дивеевским сёстрам помогает.

— Нифонт, опять ты за своё, — старец опустил глаза. — Там же сплошь сироты. Обещал он прежнему отцу настоятелю и матушке игуменье Александре опекать сестёр.

— Оно так, сироты, только я стараюсь не для себя, для монастыря нашего, что во славу Господа построен! Служение моё в том, чтоб процветала обитель наша. Живи у нас отец Серафим, пользы больше и паломников, но их кормить нужно. Вот и считаю я каждую копейку.

— В старые времена, когда голод был, в монастыре до тысячи мирян в день кормили. Боялась братия, хлеба не хватит, а настоятель сказал: коль люди вымирать будут, такие же, как мы, зачем нам в монастыре спасаться? Так и кормили всех приходивших в обитель, пока голод не кончился; и хватило хлеба, неведомые благодетели присылали подводы, полные зерна. Даст Бог, и сейчас ни в чём не будем иметь недостатка.

— Даст Бог, — перекрестился казначей. — Мы тоже сотни паломников в день принимаем. А отцу Серафиму в монастыре всё же было бы лучше, безопаснее. В муромских лесах лихих людей много, за монастырскими-то стенами надёжней.

— Да я и сам хотел бы оставить его при себе, — покивал настоятель, — привык я к нашим беседам душевным.

— Вот и хорошо, — обрадовался Нифонт, — а вас он послушает. Он всегда подчинялся вам, духовному отцу своему, как иначе, монаху-то. А как мы все, братия, будем рады. Как рады! — казначей, кланяясь, пятился к двери, поклонился низко и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь.

Прошло восемь дней, а отцу Серафиму не становилось лучше. Из Арзамаса приехали три доктора с помощниками, говорили по латыни, удивлялись, что при таких ранах больной ещё жив.

Сильная боль не отпускала раненого, не давала ему забыться. Ухаживающие за ним монахи иногда поили его с ложечки, но есть отец Серафим по-прежнему не мог. Лекари предлагали пустить кровь, настоятель отвечал им, что больной и так потерял её много. Врачи с отцом Исаией шептались в углу больничной кельи, отец Серафим не слышал их голосов, головная боль отзывалась шумом и звоном в ушах.

Потрескивали свечи, множество свечей, в ярко освещённой для врачебного осмотра келье. Глаза больного вдруг закрылись сами собой. И когда отец Исаия собрался поговорить с ним о советах врачей, то увидел отца Серафима в забытии, впервые за восемь дней. Неожиданный сон настоятель не стал нарушать, решив подождать,

пока раненый отдохнёт немного и проснётся сам.

Дыхание больного изменилось, оно перестало быть тяжёлым, свистящим, а стало спокойным, почти неуловимым. Зрачки, прикрытые распухшими веками, задвигались: больной видел ими что-то во сне. Постепенно начало преобразаться лицо: ни тени страдания не осталось на нём, покой и радость расцвели на распухших губах нежной улыбкой. Лицо светлело, почти совсем исчезли кровоподтёки и ссадины. И наконец, точно сияние окружило спящего, оно прорывалось изнутри него, и свет покрыл изменившегося на глазах человека.

Настоятель, отец Исаия, и два монаха, ухаживавшие за отцом Серафимом, даже врачи и их помощники — все замерли, боясь даже думать о величии происходящего в эти минуты. Мерцающий свет растаял так же внезапно, как и появился, только лицо отца Серафима оставалось как бы ещё подсвеченным изнутри. Он открыл глаза, вновь голубые, чистые, детские, к которым так привыкли любившие его люди, увидел отца Исаию, стоявшего у его постели.

— Врачи предлагают срочно пускать тебе кровь, лечить раны...

— Поблагодари их за заботы и хлопоты обо мне, убогом, — голос отца Серафима звучал слабо, но впервые он говорил не шё-

потом, не напрягаясь от боли, — но я полагаюсь на величайших врачевателей душ и телес наших: Господа Бога и Пресвятую Богородицу.

Настоятель кивнул, глядя на всё ещё светящееся лицо отца Серафима, не спросил его больше ни о чём, отвёл глаза, не выдержав взгляда сияющих, горящих голубым небесным светом глаз пустытника, обжигающих прикосновением к нездешнему, высшему, необъяснимому, к великой тайне горнего мира.

Через час отец Серафим сел на постели и долго молился. К вечеру он поднялся на ноги, хотя и был ещё очень слаб, пошатываясь, прошёлся по келье, попросил у братьев хлеба и белой квашеной капусты. Поел немного.

Прошёл месяц с того дня, как поднялся батюшка Серафим с постели. Совсем зажили его раны, на службы в храм стал ходить вместе с братией, вновь начал молиться в лесу, у реки Саровки, ещё редко, ненадолго покидая стены монастыря. Из больничной кельи перебрался в свою привычную, в братском корпусе.

У неугасимой лампы прекрасный лик Богородицы мягко освещён крохотным язычком лампы; в небесном покое Её прикрытые глаза, крестом сложенные руки придерживают покров, ниспадающий с го-

ловы и плеч, — икона «Умиление», что зовёт батюшка Серафим «Радостью всех радостей». Без устали и днём, и ночью в своей келье молится он у прекрасного образа.

Голос отца Исаии, послышавшийся из-за двери кельи, вернул пустычника от молитв к действительности:

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

— Аминь, — произнёс отец Серафим и быстро открыл дверь отцу настоятелю, поклонившись ему и ожидая благословения.

Войдя в келью, благословив сына духовного, старец, перекрестившись на иконы, сел на лавку, рукой пригласив сесть рядом и Серафима.

— Поседел ты совсем и сгорбился, Серафим. Слава Богу, жив остался. Келью твою в пустыньке разнесли разбойники, печь сломали, полы подняли. Оставайся ты с нами, братия просит тебя, и мне немного осталось, слабею я с каждым днём, кхе-кхе, — побряхтел отец Исаия, — скучаю я о тебе, когда уходишь от нас в лес.

— Батюшка, — отец Серафим поцеловал руку старца, — люблю я тебя очень, один ты у меня остался, дорогих моему сердцу отцов Пахомия и Иосифа призвал к Себе Отец наш небесный. Но служение моё там, в пустыньке, не окончил я начатое. Отпусти, — он стал на колени.

— Слаб ты ещё, Серафим, перезимуешь в монастыре, а весной посмотрим...

— Как я благодарен тебе, батюшка! — отец Серафим поклонился настоятелю до пола.

— За что благодаришь меня? — старец поднял его за плечи и усадил рядом. — Не уберёг я тебя, а обещал отцу Иосифу... Нашли злодеев, — голос настоятеля стал строгим. — Крепостные крестьяне оказались графа Татищева, из села Кременки. Под суд пойдут, граф пишет мне, просит совета, как наказать их примернее. Нифонт, войди! — громко позвал настоятель ожидавшего у двери в сенях казначея; тот появился в мгновение. — Решить нужно, что ответить графу, — продолжал отец Исаия.

— Самый строгий должен быть суд, чтоб другим неповадно было! — высказался Нифонт, лицо его покраснело от гнева. — Защищать нужно монастырь и саму веру Христову!

— Погоди, Нифонт, твои мысли мне известны, — остановил его старец. — Что ты скажешь, отец Серафим?

— Батюшка, я, убогий, молюсь о них, чтоб простил Бог им грех. Не мой над ними суд — Божий. Молю вас не наказывать их, — отец Серафим встал с лавки и поклонился отцам настоятелю и казначею. — Простите их ради Христа, не требуйте суда.

— Да как возможно такое, отец Серафим?! — возмутился казначей. — Нет им прощения, убийцам, злодеям!

— Всем есть прощение и спасение, брат Нифонт, — не поднимая головы, продолжал пустынник. — Бог нам велел прощать, не мне, монаху, нарушать данные обеты. Я могу только молиться о душах погибающих.

— Ты, отец Серафим, как хочешь, как велит тебе совесть, а я о братии пекусь, о других пустынниках. Потому я буду настаивать на суде, и самом строгом, — отец Нифонт был неумолим.

— Бог их покарал, — вздохнул старец Исаия, — избы погорели у всех троих, погорельцы они теперь. Бедствуют с семьями своими. Но только как же без суда, нельзя совсем без наказания.

Отец Серафим выпрямился, на сколько теперь мог, внимательно посмотрел на брата Нифонта и старца Исаию.

— Если будет суд над ними или любое наказание наложено на них, я уйду из обители Саровской, из этих мест уйду навсегда, найду другие святые места, и не узнаете, где я.

Отцы Исаия и Нифонт переглянулись, поняв, что это не пустая угроза, пустынник так и сделает, как сказал.

— Пусть будет по-твоему, — решил старец Исаия, жестом останавливая речь открывшего было рот казначей, — не будет им

наказания. Здесь они, с утра ждут, хотят к ногам твоим пасть.

— Так пусть приведут их ко мне.

Отец Серафим поклонился.

— Я так благодарен вам, отец Исаия и брат Нифонт, что уважили мою просьбу, — он поклонился ещё раз каждому, и они ушли с миром.

Прошло немного времени, и послушник привёл в келью к отцу Серафиму трёх крестьян. Переступив порог, все трое, сняв шапки, осеняя себя крестным знамением, упали на колени и склонились к полу со словами:

— Прости, батюшка, согрешили. Прости, Бога ради.

Младший заплакал.

К нему первому обратился отец Серафим:

— Зовут-то тебя как, имя твоё христианское?

— Иван, — всхлипывая, ответил тот.

— А вас, радости мои? — спросил он двух других.

— Павел и Пётр, — послышался ответ не поднимавших лиц крестьян. Первым приподнял голову Павел, горели в полутьме его карие глаза, блестел на лысине пот.

— Прости, батюшка, не верил ведь, не верил, что правда всё, вот Бог и покарал. Как же это не верил я, а? Батюшка? Наказал нас Бог. — Он подполз на коленях к сидящему

на лавке отцу Серафиму. — Три наши избы вспыхнули среди бела дня в разных концах села, рядом избы хоть бы что, а у нас всё погорело, дотла. Страшно, батюшка. Прости нас, грешных. Есть Бог, теперь знаю точно, есть. Как же мне теперь жить, ты, праведник, пустынник, скажи — как? Как жить такому, как я?

— Радость моя, — улыбнулся пустынник, — ты в Бога теперь веришь, а спрашиваешь меня; у Него спрашивай, молись. И ты Пётр, и ты Иван, — двое других крестьян тоже подползли на коленях поближе к отцу Серафиму, — молитесь о душах своих. А я всё это время молюсь о вас, и днём, и ночью. Великие дела творит молитва, когда она настоящая, наполнено верой каждое её слово. Каких великих грешников спасает наш Господь. Вы только пустите в сердце вашу любовь, научитесь любить ближнего. Богатство, деньги, что на крови и боли, не угодны Богу, никого не делают они счастливыми, только новые несчастья рождают.

— Батюшка, — заплакал Пётр, которого называли товарищи Кобяком, — нищета ведь, недоимки, корова пала, дети голодные.

— Буду молиться о вас, — слёзы стояли и в глазах пустынника. — Молитесь и вы, да трудитесь, а грех только к большему горю приведёт. Плачь, Иван, плачь, — погладил он

по голове младшего крестьянина, — пусть очищается душа.

Он благословил каждого, помазал их маслом из лампадки у икон своих, дал каждому сухариков и воды святой попить. Уходя, они всё просили:

— Поминай нас в молитвах, батюшка. Не забудь нас. Прости нас и не откажи в молитвах твоих святых.

— Радости мои, буду просить Господа Бога нашего Иисуса Христа и Матерь Его, Пречистую Богородицу, и день, и ночь, чтоб дал нам Бог веру, простил и помиловал нас всех.

В одно весеннее утро, когда уже начали таять снега, когда среди ручьёв к солнцу потянулась первая трава, в оживающий после зимней тишины бор вошёл пустынник в белом балахоне, с медным крестом на груди и сумкой с Евангелием за плечами. В пред-рассветный час в монастыре он простился со своим духовным отцом старцем Исаией, вновь благословившим его на уединение в лесной глуши. Накапывал дождь, чавкала под ногами грязная снежная каша, но дорога к саровскому Афону казалась пустыннику лёгкой.